



Абрахам
Вергезе

Рассечение
СТОУНА

Роман

Annotation

«Рассечение Стоуна» – история любви длиною в жизнь, предательства и искупления, человеческой слабости и силы духа, изгнания и долгого возвращения домой. В миссионерской больнице Аддис-Абебы при трагических, истинно шекспировских, обстоятельствах рождаются два мальчика, два близнеца, сросшихся головами, Мэрион и Шива. Рожденные прекрасной индийской монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые часы жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после рождения, определило их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою жизнь с медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет удивительная, трагическая и полная невероятных событий судьба. Абсолютно счастливое детство и драматическая юность, поиски себя и своих корней, любовь, похожая на наваждение, и ревность, изъедающая душу. И все это под сенью медицины. Что бы не происходило в жизни героев этого воистину большого романа, как бы не терзала их судьба, главным для них всегда оставалась хирургия – дело, ради которого они пришли в этот мир.

Абрахам Вергезе – выдающийся доктор, светило в области физиотерапии, один из самых авторитетных врачей Америки. Его первый роман стал большим событием, удивительная проникновенность и достоверность, глубочайшее знание профессии и великолепный литературный стиль позволяют назвать книгу Вергезе одним из самых значительных медицинских романов последнего столетия.

Абрахам Вергезе

Рассечение Стоуна

© С. Соколов, перевод, 2013

© «Фантом Пресс», 2016

* * *

Джорджу и Мариам Вергезе

Scribere jussit amor. [\[1\]](#)

*Я люблю жизнь и потому
Знаю, что полюблю смерть.
Дитя заходится в плаче,
Когда мать от правой груди его отнимает,
И в следующий миг находит оно утешение в левой.*

Рабиндранат Тагор. Гитанджали

(Жертвенные песнопения)

Пролог

Появление

В год 1954 от Рождества Христова, тридцатого сентября, ближе к вечеру, мы с братом Шивой^[2] появились на свет после восьмимесячного пребывания во мраке материнской утробы. Свой первый вдох мы сделали на высоте одиннадцати тысяч футов над уровнем моря в разреженном воздухе Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

Чудо нашего рождения состоялось в Третьей операционной госпиталя Миссии, в том самом помещении, где наша мать, сестра Мэри Джозеф Прейз, провела за работой немало часов и где она обрела себя.

Когда у нашей матери, монахини мадрасского ордена Пресвятой Девы Марии Горы Кармельской^[3], в то сентябрьское утро неожиданно начались схватки, в Эфиопии завершился сезон большого дождя, и стрекотание капель по рифленным жестяным крышам Миссии стихло, подобно оживленному разговору, прерванному на полуслове. Той ночью в опустившейся тишине зацвел мескель, щедро позолотивший горные склоны Аддис-Абебы. На лугах у Миссии осока восстала из грязи, и сверкающий переливчатый ковер подступил прямо к мощеным дорожкам госпиталя, суля нечто куда более существенное, чем просто крикет, крокет или бадминтон.

Одно- и двухэтажные домики Миссии беспорядочно белели на зеленой возвышенности, словно исторгнутые из земных недр тем же могучим геологическим процессом, что породил горы Энтото. Неглубокие канавки клумб, куда стекала с крыш вода, крепостными рвами окружали приземистые строения. Розы матушки Херст карабкались по стенам, темно-красные цветы обрамляли каждое окно, цеплялись за крыши. Столь плодородна была суглинистая почва, что матушка – мудрая и чуткая распорядительница госпиталя Миссии – не велела нам ходить по земле босиком, дабы не отросли у нас новые пальцы.

От главного здания госпиталя, подобно спицам колеса, расходились пять обсаженных кустами дорожек, они упирались в рощицы эвкалиптов и сосен, за которыми почти терялись соломенные крыши пяти бунгало. Матушке было очень по душе, что Миссия напоминает то ли дендрарий, то ли уголок Кенсингтонского парка (где она до приезда в Африку частенько прогуливалась молоденькой монахиней), а то и Эдем до грехопадения.

Мучительные роды не сорвали с уст сестры Мэри Джозеф Прейз ни стоны, ни вскрика. Один лишь гигантский автоклав (дар Цюрихской лютеранской церкви), притаившийся за распашной стеклянной дверью в соседнем с Третьей операционной помещении, мычал, всхлипывал и источал слезы, пока его обжигающий пар стерилизовал хирургические инструменты и салфетки, потребные для операции. В конце концов, именно под боком у этого сверкающего чудища, в святилище стерилизационной, прошли семь лет жизни моей матери в Миссии, что предшествовали нашему бесцеремонному появлению на свет. Ее одноместная парта (заимствованная из фондов приказавшей долго жить школы Миссии), над которой потрудились ножи многих отчаянных учеников, стояла здесь лицом к стене. Белый кардиган, который мама, как мне сказали, частенько набрасывала на плечи между операциями, висел на спинке парты.

Над партой мама прикрепила к стене календарь с изображением знаменитой

скульптуры Бернини «Экстаз святой Терезы»^[4]. Тело святой Терезы обмякло, будто в обмороке, губы приоткрыты в экстазе, веки полуопущены. С обеих сторон с молитвенных скамей бесстыже подсматривает хор. Мальчик-ангел, чье излишне мускулистое тело как-то не вяжется с юным лицом, парит над безгрешно-чувственной сестрой, кончиками пальцев левой руки приподнимая самый краешек одеяния, прикрывающего грудь. В правой руке ангел бережно, будто скрипач смычок, держит копье.

К чему эта картина? Почему святая Тереза, матушка?

Четырехлетним мальчиком я тайком прокрадывался в эту комнату без окон и внимательно рассматривал картинку. Чтобы проникнуть за тяжелую дверь, одной лишь храбрости мне бы не достало, силы придавало страстное желание узнать побольше о монахине, которая была моей матерью. Я сидел за ее парту, и автоклав, разбуженный стуканием моего сердца, урчал и шипел, будто пробуждающийся дракон, и постепенно на меня нисходило умиротворение и чувство единения с мамой.

Позже я узнал, что никто так и не осмелился убрать ее кардиган со спинки парты. Это была святая реликвия. Но для ребенка четырех лет все свято и все обыденно. Я набрасывал на плечи этот пахнувший кутикурой покров. Я водил пальцем по высохшей чернильной кляксе, ведь руки мамы когда-то касались этого пятна. Я подолгу смотрел на картинку на календаре, в точности, наверное, как мать когда-то смотрела на нее, и образ тот все глубже проникал мне в душу. (Многие годы спустя я узнал, что повторяющиеся видения святой Терезы именуется «трансверберацией», что, как следовало из словаря, означает «проникновение», а в случае святой Терезы – «проникновение Бога в самое сердце»; метафора маминой веры была и метафорой медицины.) Впрочем, для того, чтобы выразить свое почтение к этому образу, четырехлетке слова вроде «трансверберация» ни к чему. Фотографий на память не осталось, и фантазия подсказывала мне, что женщина с картинки – это моя мать, перепуганная недвусмысленными намерениями мальчика-ангела с копьем. «Когда ты явишься, мама?» – спрашивал я, и голос мой колотился о холодный кафель. *Когда ты явишься?*

И отвечал я себе шепотом: «С Богом!» Вот что осталось мне на память: слова доктора Гхоша, которые он впервые произнес, когда вошел сюда, разыскивая меня, и глянул поверх моих плеч на картинку со святой Терезой. Легко подхватив меня на руки, доктор прогудел своим низким голосом, столь похожим на рокот автоклава: «Она уже в пути, с Богом!»

Сорок шесть лет и еще четыре года протекло с минуты моего появления на свет, и случилось чудо: я вновь в этом помещении. Оказалось, парта теперь для меня маловата, а кардиган лежит у меня на плечах подобно кружевному омофору священника. Но и парта, и кардиган, и картинка с трансверберацией остались на своих прежних местах. Это я, Мэрион Стоун, изменился, а вовсе не окружающий меня мир. Эта застывшая комната подхватила меня и понесла сквозь память и время. Ничуть не поблекшая святая Тереза (для вящей сохранности ныне оправленная в рамку и помещенная под стекло), чудилось, призывала меня: приведи события в порядок, мол, вот это начиналось здесь и произошло по такой-то причине, и вот так сходятся концы с концами, и вот что привело тебя сюда.

Мы приходим в этот мир незванными и, если повезет, обретаем особую цель, которая возносит нас над голодом, нищетой и ранней смертью, составляющими, о чем не след забывать, общую участь. Став постарше, я определил для себя такую цель: стать врачом.

Главным образом не для того, чтобы спасти мир, а чтобы излечиться самому. Немногие доктора, особенно из числа молодых, способны признаться в этом, но ведь вступая в профессию, мы все, пожалуй, подсознательно верим, что служение другим уврачуеет наши собственные раны. Так-то оно так. Если только не разбередит окончательно.

Специальностью своей я избрал хирургию благодаря матушке-распорядительнице, чьим неизменным присутствием было окрашено мое детство и отрочество.

– Что для тебя было бы самым трудным? – спросила она меня, когда в самый черный день первой половины своей жизни я обратился к ней за советом.

Я поежился. Как легко матушка нащупала разрыв между амбициями и целесообразностью.

– А почему я должен обязательно бороться с трудностями?

– Потому что, Мэрион, ты – инструмент Господа. Не оставляй инструмент в футляре! Играй! Да откроются тебе все тонкости игры! Не бренчи «Три слепые мышки», если способен исполнить «Глорию».

Как несправедливо со стороны матушки было упоминать об этом грандиозном хорале, заставлявшем меня, как и прочих смертных, сознавать свое ничтожество и в немом изумлении взирать на небо! Ведь она понимала мой несформировавшийся характер.

– Но, матушка, я и мечтать не могу о том, чтобы исполнить «Глорию» Баха, – пролепетал я чуть слышно. Я не умел играть ни на струнных, ни на духовых. Я не знал нот.

– Нет, Мэрион, – она погладила меня по щеке своими шершавыми пальцами, – речь идет не о «Глории» Баха, а о твоей собственной «Глории», которая всегда с тобой. Это самый большой грех – не раскрыть то, чем одарил тебя Господь.

По темпераменту я был больше склонен к какой-нибудь познавательной дисциплине, терапии или психиатрии. Стоило мне только взглянуть на операционную, как меня бросало в пот. При мысли о скальпеле внутри все сжималось (и до сих пор сжимается). Ничего сложнее хирургии я и представить себе не мог.

Вот так я стал хирургом.

За прошедшие тридцать лет я не снискал славы ни своей быстротой, ни отвагой, ни техникой. Назовите меня спокойным, уравновешенным, тщательно подбирающим стиль и приемы, которые в наибольшей степени соответствуют конкретному пациенту и положению, и я почту это за наивысшую похвалу. Я набираюсь мужества от своих коллег-врачей, которые обращаются ко мне, когда им самим надо лечь под нож. Они знают, что Мэрион Стоун отнесется к пациенту с равным вниманием и до операции, и во время, и после. Они знают, что молодецкие фразы вроде «В рассуждения не влезай, увидел – вырезай» или «Чем ждать-поджидать, лучше сразу откромсать» не про меня писаны. Мой отец, к чьему дару хирурга я отношусь с глубочайшим уважением, говорит: «Наилучший прогноз дает операция, которую ты решил не делать». Умение отказаться от операции, четко осознать, что задача тебе не по силам, попросить помощи у хирурга калибра моего отца – такого рода талант не приносит шумной славы.

Однажды я попросил отца прооперировать пациента, который одной ногой уже был в могиле. Отец молча стоял у койки больного, держа руку на пульсе, хотя давно уже сосчитал удары сердца; казалось, чтобы ответить, ему было необходимо коснуться кожных покровов, ощутить ток крови в лучевой артерии. На его лице, словно созданном резцом скульптора, я видел полную сосредоточенность. Мне представились шестеренки, что вертятся у него в голове, померещились слезы, блеснувшие у него в глазах. Он тщательно взвешивал варианты.

Наконец покачал головой и направился к выходу.

Я кинулся за ним. Окликнул:

– Доктор Стоун!

Хотя хотелось завопить: «Отец!» В глубине души я знал, что шансы больного бесконечно малы и что с первым же дуновением наркоза все может быть кончено. Отец положил руку мне на плечо и заговорил мягко, словно с коллегой-новичком, а не с сыном:

– Мэрион, помни одиннадцатую заповедь. Не берись за операцию в день смерти пациента.

Я вспоминаю его слова в лунные ночи в Аддис-Абебе, когда сверкают ножи, свистят пули, камни рассекают воздух, и мне кажется, что я на бойне, а не в Третьей операционной, и кровь и солод чужаков пятнают мою кожу. Я все помню. Однако перед операцией не всегда знаешь ответы. Оперировать-то здесь и сейчас, и только потом некий прожектор, устремленный в прошлое, любимый прибор шутов и мудрецов, что организуют совещания по вопросам заболеваемости и смертности, высветит правоту или неправоту твоего решения. Жизнь, она ведь тоже такая – мчится вперед, а понимание движется в обратном направлении. Только если остановишься и обернешься, увидишь мертвое тело под колесами.

Теперь, на пятидесятом году жизни, я испытываю благоговение перед вскрытой брюшной полостью или грудной клеткой. Мне стыдно за род человеческий, за его талант увечить, уродовать, осквернять тело. Хотя именно этот талант позволяет мне любоваться каббалистической гармонией сердца, что проглядывает из-за легкого, или печени и селезенки – заединщиков под куполом диафрагмы, – и восторг лишает меня дара речи. Мои пальцы пробегают по кишке в поисках отверстия, оставленного ножом или пулей, петля за петлей, двадцать три фута, плотно уложенных в столь малом объеме, и во мраке африканской ночи кажется, что вот он, мыс Доброй Надежды, и я еще увижу голову змеи. Дива дивные, укрытые от своего владельца под кожей, мускулами и ребрами, предстают перед моим взором. Это ли не величайшая привилегия в земной юдоли?

В такие минуты я вспоминаю, что мне следует принести благодарность моему брату-близнецу, доктору Шиве Прейз-Стоуну, отыскать его отражение на стеклянной панели, разделяющей две операционные, и поклониться за то, что он позволил мне стать тем, кто я есть. Хирургом.

По мнению Шивы, жизнь в конечном счете заключается в латании дырок. Шива никогда не говорил метафорами. Латание дыр – его занятие в буквальном смысле слова. Такова наша профессия. Но есть и дырка иного рода – кровавый разрыв, что разделяет семью. Порой при рождении, порой позже. Все мы пытаемся сшить разорванное. Это цель жизни. Невыполненная, она переходит к следующему поколению.

Рожденный в Африке, живший в ссылке в Америке, в конце концов опять вернувшийся в Африку, я убежден, что география – это судьба. Именно судьба привела меня в точности туда, где я родился, в ту самую операционную. Мои руки в хирургических перчатках занимают точно тот же кусочек пространства у стола в Третьей операционной, что и руки моих отца с матерью.

Порой по ночам сверчки до того надрываются, что в их «заа-зи, заа-зи» тонет кашель и рычание гиен, шныряющих по окрестным холмам. Как вдруг все стихает, будто переключка закончилась, и тебе самое время найти во мраке своего напарника и удалиться. В надвигающемся вакууме тишины я слышу, как тонкими колокольчиками звенят звезды, и на меня нисходит ликование и благодарность за то крошечное место в Галактике, что занимаю

я. Именно в такие минуты я чувствую, сколь многим обязан Шиве.

Братья-близнецы, мы до отрочества спали в одной постели, соприкасаясь головами, тела и ноги в разные стороны. Мы переросли нашу близость, но я до сих пор скучаю по ней, по голове брата рядом. Когда я просыпаюсь на рассвете, первое, что приходит на ум, это разбудить его и сказать: «Красотой этого утра я обязан тебе».

А еще я обязан рассказать эту историю. Ту самую, о которой молчала моя мать, сестра Мэри Джозеф Прейз, – историю, которой всячески избегал мой бесстрашный отец Томас Стоун и которую мне придется восстановить по кусочкам. Только так можно преодолеть разрыв между братом и мной. Я бесконечно верю в хирургию, но ни один специалист не в силах вылечить кровоточащую рану, разделяющую двух братьев. Где шелк и сталь бессильны, слова должны помочь.

Начнем с начала...

Часть первая

...Ибо вся тайна ухода за пациентом в заботе о нем.

Френсис В. Пибоди. 21 октября 1925 года

Глава первая. Тифозное состояние

Сестра Мэри Джозеф Прейз прибыла в госпиталь Миссии из Индии, за семь лет до нашего рождения. Она и сестра Анджали были первыми послушницами мадрасского ордена кармелиток, кто после выматывающих курсов получил значки медсестер в Правительственной больнице общего профиля. В *тот же* вечер девушки постриглись в монахини, приняв на себя обет бедности, целомудрия и смирения. И в госпитале, и в монастыре к ним теперь обращались «сестра». Их аббатиса, пожилая и безгрешная Шесси Дживаругезе по прозвищу «Праведная Амма», благословила двух юных медсестер-монахинь и назначила им неожиданное послушание: Африку.

В день отплытия все послушницы монастыря выбрались на рикшах в гавань – проводить двух своих сестер во Христе. Так и вижу на причале стайку взбудораженных девушек, они восторженно щебечут, их белое облачение треплет ветер, и чайки прыгают подле обутых в сандалии ног.

Я часто пытался себе представить, с какими мыслями покидала мама берег Индии (а ведь им с сестрой Анджали было всего-то по девятнадцать) и поднималась по трапу на палубу «Калангута», сопровождаемая сдавленными всхлипываниями и пожеланиями милости Господней. Страшно ли ей было? Крепок ли был ее дух? В ее жизни уже было нечто подобное, когда в один прекрасный день она рассталась со своей семьей и ушла за тридевять земель в монастырь, из ее родного Кочина^[5] до Мадраса надо было сутки ехать поездом, и родители понимали, что больше никогда с ней не увидятся. И вот теперь, проведя три года в Мадрасе, она расставалась со своей семьей по вере, отправлялась за океан. И снова пути назад не было. За несколько лет до того, как начать писать, я выбрался в Мадрас, чтобы пройти по следам мамы. В архивных документах кармелиток я не нашел о ней ничего, но мне попались дневники Праведной Аммы, где аббатиса отмечала события день за днем. Когда «Калангут» отчалил, Праведная Амма, словно дорожный полицейский, подняла руку и «звучным голосом, которым читаю проповеди и который, как говорят, никак не выдает мой возраст» отчеканила: «Оставьте земли свои ради меня»^[6]. Для Праведной Аммы эта миссия была полна особого смысла. Да, потребности Индии неизмеримы. И да, так будет всегда, но оправданием это быть не должно, и потому две юные монахини – самые добродетельные и самые непреклонные в вере – станут застрельщицами; индийцы, разгоняющие любовью Христовой мрак Африки, – таковы были великие амбиции настоятельницы. Из бумаг я понял ход ее мыслей: в Индии английским миссионерам открылось, что нести любовь Христову лучше всего через припарки и компрессы, мази и перевязочный материал, чистоту и комфорт. Так разве есть более важная миссия, чем миссия врачевания? Две ее юные монахини пересекут океан, и мадрасская Миссия начнет служить и в Африке.

Две машущие фигурки на палубе постепенно превращались в белые точки, а аббатису терзали мрачные предчувствия. Что, если слепое подчинение ее великим планам обречет невинных девушек на ужасную судьбу? «За английскими миссионерами стояла могущественная империя, а что послужит опорой моим девочкам?» В дневнике своем она записала, что скрипучая перебранка чаек и брызги птичьего помета изрядно подпортили торжественные проводы. Да тут еще вонь тухлой рыбы, запах гниющего дерева и по пояс обнаженные грузчики, которые, увидев девушек, похотливо облизывали ярко-красные от бетеля губы.

Отец Небесный, вверяем тебе наших сестер, да пребудут в безопасности, – воззвала Праведная Амма к Господу, перестав махать и спрятав руки в рукава. – Босоногие кармелитки^[7] молят о прощении и милости.

Был 1947 год, британцы окончательно уходили из Индии; исход, представлявшийся невозможным, свершился. Праведная Амма тихонько вздохнула. Мир менялся, требовались решительные действия, и она верила в них.

Черно-красная жалкая посудина, именующая себя кораблем, пересекала Индийский океан, направляясь в Аден. Трюмы «Калангута» были заполнены разнообразным грузом – нашлось место и для бумажной пряжи, и для риса, и для шелка, и для сейфов «Годредж»^[8], и для канцелярских шкафов «Тата», и даже для тридцати одного мотоцикла «Ройял Энфилд Баллет» с моторами в промасленной ветоши. Судно не предназначалось для перевозки пассажиров, но грек-капитан выкрутился, взяв на борт «квартирантов». Многие тогда плавали на грузовых судах, отсутствие должной обслуги компенсировалось экономией. На судне находились две мадрасские монахини, три еврея из Кочина, семья из Гуджарата, трое подозрительного вида малайцев и несколько европейцев, среди которых были два французских матроса, в Адене собирающихся догнать свой корабль.

Палуба «Калангута» отличалась небывалым простором – кусок суши, да и только. У кормы неким насекомым на спине у слона притулилась трехэтажная надстройка, где обитали команда и пассажиры. Венчал надстройку мостик.

Моя мама, сестра Мэри Джозеф Прейз, была малаяли^[9] из Кочина, штат Керала. Христиане-малаяли ведут свою родословную от самого святого Фомы, который прибыл в Индию в 52 году от Рождества Христова. «Неверующий» Фома основал свои первые церкви в Керале задолго до того, как святой Петр попал в Рим. Мама была девочка богобоязненная, регулярно посещала церковь, а в средней школе попала под влияние харизматичной монахини-кармелитки, работавшей с бедняками. Мамин родной город лежит на берегах Аравийского моря на пяти островах, подобных драгоценным камням на перстне. Торговцы пряностями столетиями приплывали в Кочин за кардамоном и гвоздикой, среди них был и некий Васко да Гама. Португальцы основали на Гоа колониальное поселение и принялись силой загонять местных индусов в католицизм. В конце концов в Кералу явились католические священники и монахини, словно и не ведая о том, что святой Фома привез в Кералу незамутненное учение Христа за тысячу лет до них. К великому огорчению родителей, мама стала монахиней-кармелиткой, вышла из сирийско-христианской традиции святого Фомы и присоединилась к этим (по их мнению) выскочкам, к этой папистской секте. Если бы она перешла в мусульманство или индуизм, они вряд ли огорчились бы больше. Хорошо еще, родители не знали, что она, ко всему прочему, медсестра и будет мараить свои руки будто неприкасаемая.

Мама выросла на берегу океана возле древних китайских рыболовных сетей, свисающих с бамбуковых шестов и стелющихся над водой, словно гигантская паутина. Для ее народа море было вошедшим в поговорку кормильцем, верным поставщиком креветок и рыбы. Но сейчас, на палубе «Калангута», вдали от знакомых берегов, она не узнавала своего кормильца. Неужели открытое море всегда такое – туманное, неласковое и беспокойное? В его объятиях судно раскачивалось, и моталось из стороны в сторону, и натужно скрипело. Казалось, воды вот-вот поглотят его.

Мама и сестра Анджали уединились в своей каюте, заперли дверь, чтобы никто не ворвался, ни мужчины, ни море. Пылкие молитвы Анджали пугали маму. Сестра Анджали

возвела в ритуал чтение Евангелия от Луки; она утверждала, что это окрыляет душу и дисциплинирует тело. Две монахини вникали в каждую букву, каждое слово строчку и фразу до *dilatatio*, *elevatio* и *excessus* – созерцания, величия и экстаза. Древний распорядок Ришара де Сен-Виктора^[10] доказал свою полезность при плавании за море, которому не видно ни конца ни краю. К исходу второй ночи, после десяти часов углубленного чтения, сестра Мэри Джозеф Прейз внезапно ощутила, что печатные буквы, да и сама страница, исчезли и ее и Господа более ничто не разделяет. Тело, ликуя, уступило тому, что свято, вечно и необъятно.

На шестой день плавания во время вечерних молитв они пропели гимн, два псалма, свои антифоны, возблагодарили Господа и как раз пели «Магнификат»^[11], когда пронзительный треск вернул их на грешную землю. Монахини нацепили спасательные жилеты и кинулись вон из каюты. Палуба вздыбилась, гранью пирамиды она вздымалась в небо. Капитан курил трубку и своей ухмылкой дал понять пассажирам, что пугаться нечего.

На девятый день плавания у четырех из шестнадцати пассажиров и у одного матроса появился жар, а еще через день на теле выступили розовые пятна, составив на груди и животе рисунок сродни китайской головоломке. Страдания сестры Анджали оказались невыносимы, малейшее прикосновение вызывало у нее мучительную боль. На второй день болезни она впала в горячечный бред.

Среди пассажиров «Калангута» оказался хирург, молодой англичанин с ястребиными глазами, покинувший Индийскую медицинскую службу в поисках лучшей доли. Хоть он и избегал общих трапез, все заметили, как он высок и силен и как резки черты его сурового лица. Сестра Мэри Джозеф Прейз свалилась на него (в буквальном смысле слова) на второй день плавания, оступившись на металлическом трапе, что вел к кают-компани. Англичанин подхватил ее за копчик и за грудную клетку и поставил на ноги, будто ребенка. Когда она, запинаясь, пробормотала слова благодарности, он залился румянцем. Казалось, их внезапная близость смутила его куда больше, чем ее. Места, где его руки коснулись ее тела, побаливали, но в этой боли была некая сладость. А потом англичанин пропал из поля зрения на добрых несколько дней.

Сестра Мэри Джозеф Прейз набралась смелости и постучалась в дверь его каюты: все-таки врач. Слабый голос пригласил ее войти. С порога она почувствовала кислый запах желчи.

– Это я, – громко представилась она, – сестра Мэри Джозеф Прейз.

Доктор лежал на боку, лицо серо-зеленое, того же цвета, что и его шорты, глаза зажмурены.

– Доктор, – сказала она, помедлив, – у вас тоже жар?

Он приподнял было веки, и глаза у него закатились. Его вырвало. Метил он в пожарное ведро, но не попал. Впрочем, ведро и так было полно до краев. Сестра Мэри Джозеф Прейз бросилась к мужчине и пощупала ему лоб. Кожа была холодная и липкая, никакого жара. Щеки у него ввалились, тело скрючилось, словно его пытались запихать в тесный ящик. Никто из пассажиров не страдал морской болезнью. Единственный случай на корабле, и в такой тяжелой форме!

– Доктор, докладываю, что у пяти пациентов жар. Сопутствующие симптомы: сыпь, озноб, испарина, редкий пульс и потеря аппетита. Состояние у всех стабильное, за исключением сестры Анджали. Я очень беспокоюсь за Анджали...

Как только она высказалась, ей сразу же стало легче, хотя англичанин только и мог, что застонать в ответ. В глаза ей бросилась лигатура из кетгута, обмотанная вокруг изголовья

койки, она являла собой великолепный набор узлов, один на другом, обративший изголодь в некое подобие флагштока. Вот как доктор коротал время, когда его одолевала рвота.

Она опорожнилась и вымыла ведро, поставила подле страдальца, протерла пол полотенцем, сполоснула его и повесила сушиться, поставила воду в изголодь и удалилась. Интересно, сколько уже дней он ничего не ел?

К вечеру ему сделалось хуже. Сестра Мэри Джозеф Прейз принесла чистые простыни, полотенца, бульон, попыталась покормить его, но от одного только запаха пищи его выворачивало всухую, глаза вылезали из орбит. Его обложенный язык был сер, как у попугая. В каюте стоял особый сладковатый запах, такой бывает, когда умирают от истощения, она знала. Если оттянуть кожу у него руке и отпустить, она так и оставалась стоять домиком. Ведро уже было до половины полно чистой желчи. Может ли морская болезнь закончиться смертельным исходом, недоумевала она. А вдруг это легкая форма болезни, что постигла и сестру Анджали? В медицине она не такой уж большой специалист. Посреди океана, окруженная больными, сестра Мэри Джозеф Прейз остро чувствовала бремя собственного невежества.

Но она знала, как ухаживать за больными. И знала, как молиться. С молитвой она скинула с него рубашку, пропитанную слюной и желчью, стянула шорты, обтерла тело и преисполнилась гордости, ибо ей никогда еще не доводилось производить подобные манипуляции с белым человеком, да еще доктором. Тело его покрывалось гусиной кожей, но сыпи не было. Он был хорошо сложен, с прекрасно развитой мускулатурой, и только сейчас она заметила, что левая половина грудной клетки у него меньше правой, слева в ямочку над ключицей влезло бы с полчашки воды, а справа – не больше чайной ложки. А от левого соска к подмышке тянулась впадинка, кожа на ней блестела и морщилась. Она коснулась провала, и у нее перехватило дыхание: двух или даже трех соседних ребер не было в помине, сердце сильно билось прямо у нее под пальцами, тут же за тоненькой перемышкой, очертания желудочков легко угадывались под кожей.

Мягкий, негустой волосяной покров на животе и груди, казалось, произрастал из поросли на лобке. Она бесстрастно обмыла необрезанный член, уложила набок и занялась жалким сморщенным мешочком под ним. Когда дело дошло до мытья ног, она не сдержала слез, на ум ей, само собой, пришли Иисус и его последняя земная ночь с учениками.

В каюте доктора она обнаружила книги по хирургии. Поля страниц были исписаны именами и датами, и только позже она догадалась, что это имена пациентов, индусов и англичан, и больной Пибоди или Кришнан – типичный случай описываемой на странице болезни. Крест рядом с фамилией, видимо, означал смерть. Она отыскала одиннадцать блокнотов, густо заполненных убористым прыгающим почерком, строчки были кривые и на полях загибались книзу. Молчаливый с виду человек, на бумаге он неожиданно оказался весьма многословен.

В конце концов она нашла чистое нижнее белье и шорты. Что тут скажешь, если у мужчины больше книг, чем одежды? Ворочая его с боку на бок, она облачила его в свежее белье.

Теперь она знала, что его зовут Томас Стоун: имя значилось на учебнике по хирургии, лежащем на тумбочке. Про жар и сыпь в книге говорилось мало, а про морскую болезнь – и вовсе ни слова.

В тот вечер сестра Мэри Джозеф Прейз металась от одного больного к другому. На излом палубы она старалась не смотреть, он напоминал ей скорчившуюся человеческую

фигуру. Накатила черная гора воды высотой с многоэтажный дом, и судно, казалось, провалилось в воронку водоворота. Потоки с ревом устремились на палубу.

Посреди разбушевавшегося океана, отупевшая от бессонницы и бессилия, она чувствовала, что ее мир стал проще. Он разделился на тех, у кого был жар, тех, кто страдал от морской болезни, и тех, кого миновала чаша сия. К тому же, кто знает, был ли смысл во всех этих разграничениях, вдруг им всем суждено утонуть.

Она очнулась от забытья рядом с Анджали. Казалось, не прошло и мгновения, но следующее пробуждение застало ее уже в каюте англичанина, она уснула, стоя на коленях рядом с его койкой, ее голова покоилась у него на груди, а его рука лежала у нее на плече. Не успела сестра Мэри это осознать, как сон опять ее сморил, на этот раз проснулась она в койке, лежа на самом краешке, тесно прижавшись к Томасу Стоуну. Юная монахиня вскочила и помчалась к сестре Анджали, той стало хуже, дыхание сделалось прерывистое и частое, кожу сплошь покрыли большие лиловые пятна.

Лица у измученных бессонницей матросов были напряженные, а один юноша упал перед ней на колени и взмолился: «Сестра, отпусти мне мои грехи», и она поняла, что судно по-прежнему в опасности. На ее просьбы о помощи команда не реагировала.

В тоске и отчаянии сестра Мэри Джозеф Прейз утащила из кубрика гамак (в полусне-полуяви ей явилось некое видение насчет него) и повесила в его каюте между иллюминатором и койкой.

Доктор Стоун был слишком тяжел, и только помощь святой Екатерины, которой неустанно молилась юная монахиня, позволила стянуть неподвижное тело с койки на пол и затем затащить на гамак. Послушный законам гравитации, гамак не качался вместе с кораблем, сохраняя горизонтальное положение. Она опустилась рядом с ним на колени и предалась молитве, открыла свою душу Иисусу и закончила «Магнификат», прерванный на полуслове в ту ночь, когда палубу вспучило.

Сперва у доктора Стоуна порозовела шея, потом щеки. Она дала ему пару ложечек воды, а через час настала очередь бульона. Теперь его блестящие глаза следили за каждым ее движением. Стоило ей поднести ложку ему ко рту, как сильные пальцы ухватили ее за запястье. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем»^[12], – снова пришло ей на ум.

Господь услышал ее молитвы.

Бледный Томас Стоун на подгибающихся ногах добрел вместе с сестрой Мэри Джозеф Прейз до одра Анджали. Он окаменел при виде широко открытых страдальческих глаз, изможденного лица, заострившегося носа, трепетавших при каждом вдохе ноздрей. Сестра Анджали, казалось, была в полном сознании, но никак не отреагировала на посетителей.

Доктор опустился подле нее на колени, но остекленевшие глаза Анджали смотрели мимо. Сестра Мэри Джозеф Прейз глядела, как отработанным движением он приподнял Анджали край века, обнажив слизистую, проверил на свет зрачки. Легкими и плавными движениями он нагнул Анджали голову, чтобы проверить подвижность шеи, пощупал лимфоузлы, покачал конечности, за отсутствием молоточка согнутым пальцем простучал коленный рефлекс. От его недавней неуклюжести не осталось и следа.

Он раздел Анджали и, не обращая никакого внимания на сестру Мэри Джозеф Прейз, бесстрастно осмотрел спину, бедра и ягодицы больной, длинными пальцами (будто нарочно для этого созданными) пальпировал селезенку и печень, приложил ухо к груди, затем к

животу, перевернул Анджали на бок, послушал легкие и сказал:

– Тоны дыхания ослаблены справа... околушные железы увеличены... гланды не удалены – почему?.. Пульс слабый и частый.

– Пульс сделался редкий, как только начался жар, – подсказала сестра Мэри Джозеф Прейз.

– Да что вы говорите! – Тон был резкий. – Насколько редкий?

– Сорок пять – пятьдесят, доктор.

Ей казалось, он и думать забыл о собственном недомогании, забыл даже, что они на корабле. Он точно слился с телом сестры Анджали, и слова, произносимые им, метили во внутреннего врага. Она преисполнилась к нему таким доверием, что весь страх за Анджали куда-то делся. Юная монахиня стояла рядом с доктором на коленях, и ее переполнял такой восторг, будто только сейчас, встретив настоящего врача, она стала настоящей медсестрой. Она велела себе прикусить язык, хотя ей хотелось говорить и говорить.

– *Coma vigil*^[13], – произнес он, и сестра Мэри Джозеф Прейз предположила, что он дает ей указания. – Видите, как у нее блуждает взгляд, будто она кого-то ждет? Дурной знак. И смотрите, как она подгребает под себя простыни, – это называется «карфология», все эти мелкие мышечные сокращения не что иное как *subsultus tendinum*^[14]. Это «тифозное состояние». Симптомы возникают на поздних стадиях многих видов заражения крови, не только при тифе. Однако, представьте себе, – он глянул на нее с легкой улыбкой, – я хирург, не терапевт. Что я знаю об этом заболевании? Лишь то, что оно не требует хирургического вмешательства.

Его присутствие не только вселило уверенность в юную монахиню, казалось, оно успокоило море. Солнце, доселе прятавшееся за тучами, внезапно показалось за кормой. Матросы даже выпили по этому случаю, что лишний раз показало, в каком серьезном положении судно находилось каких-то несколько часов назад.

Но как ни гнала от себя эту мысль сестра Мэри, Стоун почти ничем не мог помочь сестре Анджали, да и средств не было. Содержимое корабельной аптечки составлял засушенный таракан – все прочее какой-то матрос пустил в оборот на последней стоянке. Рундук с медицинскими принадлежностями, используемый капитаном в качестве табурета, похоже, попал сюда еще в Средневековье. Ножницы, нож-пила и грубые щипцы – больше в изукрашенном резьбой вместилище ничего полезного не было. На что хирургу вроде Стоуна припарки или крошечные пакетики с полынью, тимьяном и шалфеем? Стоун только посмеялся над этикеткой *oleum philosophorum* (впервые сестра Мэри Джозеф Прейз услышала его смех, пусть даже глухой и невеселый).

– Послушайте только, – произнес он, – «содержит кафельную и кирпичную крошку, помогает от хронического запора».

Рундук полетел за борт. Стоун оставил только инструменты и янтарную бутылочку *Laudanum Opiatum Paracelsi*^[15]. Столовая ложка этого древнего снадобья – и сестре Анджали вроде как стало легче дышать. «Это разорвет связь между легкими и мозгом», – объяснил Томас Стоун сестре Мэри Джозеф Прейз.

Явился капитан, красноглазый и краснолицый.

– Как вы смеете так обращаться с корабельным имуществом? – Непонятно, брызги слюны или бренди вылетали у капитана изо рта.

Стоун вскочил на ноги, словно мальчишка, готовый к драке, и уставился на капитана.

Тот судорожно сглотнул и сделал шаг назад.

– Тем лучше для людей и тем хуже для рыб. Еще одно слово – и я подам на вас рапорт, что вы перевозите пассажиров, не имея на борту никаких лекарств.

– У нас была честная сделка.

– Вы совершаете убийство. – Стоун указал на Анджали.

Лицо у капитана поплыло, будто из него вынули каркас, глаза, нос и губы поползли вниз.

Томас Стоун заступил на дежурство и расположился бивуаком у койки Анджали, отлучаясь только затем, чтобы осмотреть всех и каждого на судне, – неважно, выражал осматриваемый свое согласие или нет. Он отделил тех, у кого был жар, от тех, у кого жара не было. Он завел картотеку, он набросал план кают и пометил крестиком помещения, где находились больные. Он настоял на окурировании всех кают. Тон, каким он отдавал распоряжения, приводил капитана в бешенство, но если даже Томас Стоун и заметил это, то не придал никакого значения. Следующие двадцать четыре часа Стоун не спал совсем, не спускал глаз с сестры Анджали, осматривал больных и здоровых, выявил, что пожилая пара также серьезно больна. Сестра Мэри Джозеф Прейз неотступно следовала за ним.

Через две недели после отплытия из Кочина «Калангут» дотащился наконец до Адена. Судно шло под пор тугальским флагом, но, несмотря на это, было подвергнуто строгому карантину. Корабль бросил якорь на солидном расстоянии от берега, этакий изгой-прокаженный, обреченный смотреть на город издали. Стоун накинулся на портового инспектора-шотландца, которого нелегкая дернула появиться в пределах досягаемости: если тот не предоставит аптечку, раствор Рингера для внутривенных вливаний и сульфамиды, тогда он, Томас Стоун, возложит на инспектора всю ответственность за смерть на борту граждан Британского Содружества. Сестру Мэри Джозеф Прейз восхитило его красноречие, Стоун будто занял место Анджали в качестве ее единственного союзника и друга в этом злосчастном плавании.

Когда медикаменты прибыли, Стоун перво-наперво занялся Анджали. Обработав скальпель имеющимся под рукой антисептиком, он одним махом вскрыл большую подкожную вену ноги в том месте, где она уходила в лодыжку, вставил в сосуд иглу толщиной с карандаш и зафиксировал лигатурами. Узлы он вязал так быстро, что очертания его пальцев теряли четкость. Но, несмотря на внутривенные вливания раствора Рингера и сульфамида, никакого улучшения не последовало. Анджали так ни разу и не помочилась. Ближе к вечеру она умерла в ужасных судорогах, с разницей в несколько часов скончались и двое других, старик и старушка. Смерти оглушили сестру Мэри Джозеф Прейз, повергли в трепет, она никак не ожидала такого исхода. Радость от того, что Томас Стоун восстал с одра, ослепила ее – но оказалась непродолжительной.

В сумерках юная монахиня и Томас Стоун предали завернутые в полотно тела морю. Никто из команды к ним и близко не подошел. Суеверные матросы даже норовили не смотреть в их сторону.

Как ни старалась сестра Мэри Джозеф Прейз держаться, она была безутешна. Лицо Стоуна почернело от гнева и стыда. Не смог он спасти сестру Анджали.

– Как я ей завидую, – пролепетала сквозь слезы юная монахиня, душевная усталость и бессонные ночи развязали ей язык. – Она отошла к Господу. Уж наверное там лучше, чем здесь.

Стоун подавил смешок. Такое настроение, по его мнению, говорило о приближающемся

расстройстве сознания. Он взял юницу за руку, отвел к себе в каюту, уложил на свою койку и велел спать. Сам он присел на гамак, подождал, пока блаженное забытие снизойдет на нее, и заторопился к пассажирам и команде – их надо было повторно осмотреть. Доктору Томасу Стоуну, хирургу, сон не требовался.

Спустя два дня, когда стало ясно, что новых заболевших нет, им наконец-то разрешили покинуть судно. Томас Стоун отправился на поиски сестры Мэри Джозеф Прейз и обнаружил ее в каюте, где они жили с сестрой Анджали. Четки, зажатые юной монахиней в руке, были мокрые, лицо тоже. Он чуть ли не с испугом отметил то, что раньше как-то ускользало от его внимания: она была необычайно красива, а столь огромных и выразительных глаз он не видел никогда. Краска бросилась ему в лицо, язык прилип к гортани. Он упер взгляд в пол, затем перевел на ее чемодан. Когда дар речи вернулся к Стоуну, он сказал:

– Тиф.

Это короткое слово было плодом длительных размышлений и книжных штудий. Видя ее озадаченность, он добавил:

– Несомненно, тиф, – в надежде, что точный диагноз принесет ей облегчение, но слез, казалось, только прибавилось. – По всей видимости, тиф. Разумеется, только серологическая реакция могла бы подтвердить это, – произнес он с легкой запинкой.

Стоун переступил с ноги на ногу, скрестил было руки и снова их опустил.

– Уж не знаю, куда вы направляетесь, сестра, а я еду в Аддис-Абебу... это в Эфиопии... В госпиталь... который высоко оценил бы ваши услуги, окажись вы там.

Стоун посмотрел на юную монахиню и покраснел сильнее, потому что на самом деле он ничего не знал про эфиопский госпиталь и тем более не имел понятия, нужна ли там вообще медсестра, и еще потому, что печальные карие глаза, казалось, видят его насквозь.

Но сестра Мэри молчала, занятая собственными мыслями. Она вспоминала, как молилась за него и за Анджали и как Господь откликнулся только на одну ее молитву. Стоун, восставший подобно Лазарю, весь отдался стремлению постичь причину болезни: врывался в каюты экипажа, набрасывался на капитана, требовал и угрожал. На взгляд юной монахини, он вел себя недостойно, но во имя достойной цели. Его самоотверженность и страсть стали для нее откровением. В больнице медицинского колледжа в Мадрасе, где она стажировалась, уполномоченные врачи^[16] (в то время по большей части англичане) проплывали мимо пациентов небожителями, а в кильватере следовали их ассистенты, больничные хирурги и практиканты. Ей всегда казалось, что болезни стоят у них на первом месте, а сами больные со своими страданиями представляют собой нечто не столь существенное. Томас Стоун был не такой.

Она чувствовала, что предложение поработать с ним в Эфиопии было спонтанным, неотретированным, оно само сорвалось с языка. Что ей делать? Праведная Амма упоминала о некой бельгийской монахини, что покинула Миссию в Мадрасе, отвоевав себе крошечный плацдарм в Йемене, в Адене, – плацдарм, впрочем, донельзя непрочный в связи с нездоровьем монахини. Праведная Амма предполагала, что сестра Анджали и сестра Мэри Джозеф Прейз укрепятся на Африканском континенте, что бельгийская монахиня научит их жить и нести слово Божие во враждебном окружении. А уж оттуда, списавшись с Аммой, сестры отправятся на юг, ну конечно, не в Конго (где сплошное засилье французов и бельгийцев), равно как не в Кению, Уганду или Нигерию (где бесчинствует англиканская

церковь, не терпящая конкуренции), а, скажем, в Гану или в Камерун. Сестра Мэри ломала себе голову, что Праведная Амма сказала бы насчет Эфиопии?

Мечты Праведной Аммы представлялись теперь молоденькой монахине мечтами курильщика опиума, ее исступленный евангелизм казался теперь почти болезненным, и сестра не решилась поведать обо всем этом Томасу Стоуну. Вместо этого она чуть дрожащим голосом сказала:

– У меня послушание в Адене, доктор. Но все равно спасибо. Благодарю вас за все, что вы сделали для сестры Анджали.

Он возразил, что не сделал ничего.

– Вы сделали больше, чем любой другой на вашем месте, – мягко произнесла она, взяла его ладонь в свои и заглянула в глаза. – Да благословит вас Господь.

Ее влажные от слез руки, сжимающие четки, были такие мягкие... Он вспомнил прикосновения ее пальцев, когда она мыла его, одевала, придерживала голову во время приступов рвоты, вспомнил выражение ее лица, обращенного к небу, когда она пела псалмы и молилась за его выздоровление. Шея у него предательски покраснела, уже в третий раз. В глазах у нее заплескалась боль, она едва слышно застонала, и только тогда он понял, что слишком сильно сжимает ей руку, плющит пальцы о четки. Он выпустил ее ладонь, открыл было рот, но, так ничего и не сказав, резко повернулся и зашагал прочь.

Сестра Мэри не шевельнулась. В покрасневших руках пульсировала кровь. Боль была благословенным даром, она поднималась к плечам, и в груди нарастало нечто, чего она уже не могла выносить, – чувство, будто что-то вырвали из нее с корнем. Ей хотелось вцепиться в него, крикнуть, чтобы не уезжал. Она всегда считала, что жизнь ее полна лишь служением Господу. Но теперь в ней будто образовалась пустота, неведомая прежде, о существовании которой она и не подозревала.

Ступая на землю Йемена, сестра Мэри Джозеф Прейз больше всего хотела остаться на борту «Калангута» навсегда. И что это ее так тянуло на берег, пока судно стояло в карантине? Аден, Аден, Аден – она и раньше о нем ровно ничего не знала, да и сейчас это для нее было не более чем экзотическое название. Правда, матросы на судне говорили, что все дороги ведут в Аден. Стратегическое положение порта было когда-то на руку британскому флоту, а сейчас беспощинный статус привлекал покупателей и позволял легко пересечь с корабля на корабль. Аден был воротами в Африку, а для африканцев – в Европу. Сестре Мэри он казался воротами ада.

Город был мертв и в то же время находился в непрерывном движении, словно гниющий труп, покрытый копошащимися червями. Она сбежала от одуряющей жары главной улицы в тень переулков. Дома, казалось, были вырублены прямо из скал. Ручные тележки, невероятно высоко груженные бананами, кирпичами, дынями (а одна колымага так даже везла двух прокаженных с культями вместо ног), так и сновали в толпе прохожих. Громадная женщина, с ног до головы закутанная в черный *шаршаф* и накидку, величественно шествовала с дымящейся углями жаровней на голове. Никто не находил это странным, зато все глазели на смуглую монахиню, бредущую в толпе. Ей чудилось, что с открытым лицом она здесь все равно что голая.

Где-то через час, в течение которого солнце нещадно палило ее кожу, и она едва ли не вздулась, подобно тесту в печи, сестра Мэри Джозеф Прейз, плутая и поминутно

выспрашивая дорогу, набрела наконец на крошечную дверь в конце узкого проулка. На каменной стене светлел след от таблички, как видно недавно снятой. Сестра помолилась про себя, набрала в грудь воздуха и постучала. Хриплый мужской голос что-то каркнул в ответ. Юная монахиня истолковала это как приглашение и вошла.

На полу рядом со сверкающими весами сидел по пояс голый араб. Вокруг до самого потолка громоздились кипы увязанных листьев.

От оранжерейной духоты у нее перехватило дыхание. Аромат *ката* был для нее в новинку: свежескошенная трава с неким пряным оттенком.

Борода араба, крашенная хной, была такая красная, будто он макнул ее в кровь. Глаза у него были подведены, словно у женщины, и, глядя на него, сестра вспомнила описания Саладдина, не давшего крестоносцам покорить Святую Землю. Эти самые глаза сначала остановились на юном лице, окаймленном белым апостольником, затем перебежали на кожаный саквояж, который юная монахиня держала в руке. Араб показал золотые зубы и захохотал. Правда, грубый смех мигом стих, когда мужчина увидел, что монахиня близка к обмороку. Он усадил гостью, велел подать чай, а потом на варварском английском, помогая себе жестами, объяснил, что бельгийская монахиня, проживавшая здесь, скоропостижно скончалась. При этих словах сестру Мэри Джозеф Преиз бросило в дрожь, словно она слышала шаги самой смерти, шуршащие по листьям. Фотокарточка сестры Беатрисы была у юной монахини в Библии, и она увидела ее образ глазами души, и он обратился в маску смерти, а затем в лицо Анджали. Она заставила себя посмотреть мужчине в глаза, показать, что ее не смутили его слова. *О чем? Дела? Кто в Адене спрашивает о делах? Сегодня у тебя все хорошо, долги оплачены, жены счастливы, хвала Аллаху, а на следующий день тебя валит лихорадка, и твою кожу сжигает жар, и ты умираешь. О чем? О ерунде. О плохой коже. О чуме. О невезении, если хотите. Даже об удаче.*

– Дом принадлежит мне, – сказал араб. Рот его был набит зелеными листьями *ката*. – У Бога старой монахини не хватило сил спасти ее, – продолжил он, заводя глаза и указывая на потолок, словно слабосильный Бог лично присутствовал в комнате.

Сестра Мэри Джозеф Преиз тоже невольно посмотрела вверх, но быстро опомнилась. Араб перевел затуманенные глаза с потолка на лицо юной монахини, на губы и на грудь.

Я столько знаю о подробностях странствия мамы, потому что она сама рассказывала о них другим людям, а другие передали мне. Но на Адене, на оранжерейно душном доме, ее рассказ внезапно обрывался.

Ясно только одно: она отправилась в дальнюю дорогу в полной уверенности, что ее миссия угодна Господу и что тот не оставит ее своей милостью. А вот в Адене с ней что-то стряслось, о чем никто не ведал. Но именно там она поняла, что ее Бог мстителен и суров даже с теми, кто в него искренне верит. Дьявол явил свой лик в искаженных чертах лиловой смертной маски Анджали, но ведь это Бог попустил. Для нее Аден был город зла, где Бог велел Сатане показать ей, сколь хрупок и разобщен мир, как неустойчиво равновесие между добром и злом и как наивна она была в своей вере. Ее отец говаривал: «Коли хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Ей было жаль Праведную Амму, чья мечта о просвещении Африки была порождена тщеславием, – тщеславием, которое стоило сестре Анджали жизни.

Долгое время я знал об этом периоде, занявшем несколько месяцев (а пожалуй, что и год), только то, что в один прекрасный день мама, которой исполнилось девятнадцать,

бежала из Йемена, пересекла Аденский залив, высадилась, по всей видимости, где-то в окрестностях древнего эфиопского города Харрар, а может, даже в Джибути, села на поезд и через Дире Дава прибыла в Аддис-Абебу.

А вот как она появилась на пороге госпиталя Миссии, я знаю. В дверь кабинета матушки-распорядительницы трижды негромко постучали.

– Войдите, – крикнула матушка, и это слово круто изменило судьбу всей Миссии.

Затяжные дожди в Аддис-Абебе как раз сменились короткими ливнями, за многодневным плеском воды стали слышны иные звуки, и очертания предметов начали проступать из-под серой пелены. Не эти ли перемены породили возникший перед матушкой-распорядительницей в дверном проеме смутный образ смуглой красавицы-монахини?

Теплый взгляд немигающих карих глаз коснулся лица матушки. Зрачки расширены (наверное, воспоминания об ужасах дороги еще были свежи, подумает позже матушка), нижняя губа такая пухлая, что, кажется, вот-вот лопнет. Апостольник подпирал подбородок, стягивал овал лица, но не мог скрыть пыла, которым дышало это лицо, равно как не мог скрыть боли и смущения. Ее грязно-бурое облачение некогда, по всей видимости, было белым. Матушка смерила пришлицу взглядом и там, где сходились ноги, узрела свежее кровавое пятно.

Девушка отличалась болезненной худобой, вроде бы даже нетвердо стояла на ногах, но голос, утомленный и печальный, звучал решительно: *Желаю очиститься душой, обратиться к Богу, внимать Его речам, обращенным к пастве Его. Прошу вас помолиться за меня, чтобы я провела остаток своих дней в непрестанном присутствии Христа в Евхаристии и подготовила душу для великого дня, когда грядет союз между невестой и Женихом.*

Матушка-распорядительница узнала литанию постулантки, слова, которые она сама произносила много лет тому назад, и невольно ответила, как ее мать-настоятельница:

– Радость о Господе и благословение Святого Духа.

Только когда нежданная гостья прямо в дверях осела на пол, матушка стряхнула с себя оцепенение, вскочила из-за стола и бросилась к ней. Голод? Изнеможение? Кровопотеря? В чем причина? В руках матушки сестра Мэри Джозеф Прейз казалась почти невесомой. Бедняжку уложили в постель. Облачение, покрывало и апостольник прятали торчащие ребра и впалый живот. Не женщина, девушка! Почти девочка. С длинными густыми волосами и не по годам развитой (и как это они не заметили?) грудью.

Материнский инстинкт в матушке-распорядительнице ожил, и она всю ночь просидела у койки юной монахини. Девушка спала беспокойно, несколько раз пробуждалась и в ужасе шарилась вокруг себя руками.

– Дитя мое, что с тобой? Успокойся. Ты в безопасности, – успокаивала ее матушка, однако целая неделя прошла, прежде чем девушка стала спать одна. Румянец вернулся на ее щеки еще через неделю.

Когда короткие ливни закончились и солнце обратило свой лик к городу, будто желая сказать, что, несмотря ни на что, оно обожает его, в знак чего и дарует свои самые благословенные, ни облачком не замутненные лучи, сестра Мэри Джозеф Прейз рука об руку с матушкой покинула уединенную келью. Вновь прибывшую надлежало представить сотрудникам госпиталя. При посещении Третьей операционной матушка с изумлением увидела, как на суровом и мрачном лице нового хирурга Томаса Стоуна при виде юной монахини расцветает что-то очень похожее на радость. Он залился краской, обеими руками

ухватил ее ладонь и так сжал, что на глаза у девушки навернулись слезы.

Знать бы тогда маме, что она останется в Аддис-Абебе, в госпитале Миссии навсегда, до самой смерти пребудет в непрестанном присутствии этого хирурга. Работать вместе с ним на благо его пациентов, быть его квалифицированным ассистентом – таково было ее стремление, и гордыня тут была ни при чем. На то была Божья воля, и она ей покорилась. Возвращаться в Индию через Аден – она даже подумать об этом не могла.

В последующие семь лет, что она прожила и проработала в госпитале Миссии, сестра Мэри очень редко рассказывала о своем плавании из Индии и никогда – о том, что выпало на ее долю в Адене.

– Стоило мне заговорить об Адене, – рассказывала матушка, – как твоя мама невольно оглядывалась, словно аденские ужасы преследовали ее по пятам. На лице ее проступал такой страх, что пропадала охота расспрашивать. Это меня пугало. Все, что она сказала: «Это попущение Господне, что я попала к вам, матушка. Пути Господни неисповедимы». И никакого богохульства в ее словах не было, представь себе. Она верила, что ее работа угодна Господу. Затем-то он и привел ее в Миссию.

Такой зияющий пробел в жизни столь короткой невольно привлекает внимание. Биограф или, к примеру, сын должен копать глубже. Пожалуй, побочным эффектом таких поисков стало то, что я принялся изучать медицину. А может, и то, что нашел Томаса Стоуна.

В Третьей операционной начался последний этап в жизни сестры Мэри Джозеф Прейз. Первый ассистент доктора Стоуна, в шапочке и перчатках, она, когда надо, расширяла рану ретрактором, обрезала нитки после наложения шва, приводила в действие отсос. Через несколько недель она уже заменяла операционную сестру, а затем и первого ассистента. Кто лучше, чем первый ассистент, знал, когда Стоуну нужен скальпель для иссечения, а когда достаточно и намотанной на палец марли. Она была как бы о двух головах: операционная сестра, подававшая инструменты, и первый ассистент, своего рода третья рука Стоуна, приподнимавшая печень, сдвигавшая в сторону сальник – жирный фартук, прикрывающий кишки, – или пальцем приминавшая отечную ткань, чтобы Стоун увидел, куда всаживать иглу.

Матушка заходила понаблюдать за их совместной работой.

– Идеальная слаженность, милый мой Мэрион. Никаких тебе «скальпель», «тампон», «отсос», все подавалось без слов. Она и Стоун работали очень быстро. Мы больных им не успевали укладывать на операционный стол.

Семь лет Стоун и сестра Мэри Джозеф Прейз работали по единому графику. Операции порой длились до поздней ночи или даже до рассвета, и она неизменно была рядом, словно тень, послушная долгу, безропотная, умелая. Вплоть до того самого дня, когда брат и я заявили из утробы о своих правах на питание из груди, а не из плаценты.

Глава вторая. Недостающий палец

В Миссии у Томаса Стоуна сложилась репутация человека внешне спокойного, но страстного и даже загадочного, что-то вроде «в тихом омуте черти водятся». Правда, доктор Гхош, специалист по внутренним болезням и по совместительству мастер на все руки, решительно отвергал этот ярлык:

– Если человек составляет тайну прежде всего для самого себя, вряд ли можно назвать его загадочным.

Коллеги доктора Гхоша научились не делать из поведения Стоуна далеко идущих выводов, тем более что он был болезненно застенчив, особенно при посторонних. Неуклюжий и не находящий себе места за пределами Третьей операционной, у стола он был сосредоточен и подвижен, будто только здесь его тело и душа сливались воедино, а картина внутри головы полностью соответствовала картине снаружи.

Как хирург Стоун славился быстротой, смелостью, доходящей до дерзости, изобретательностью, скупостью движений и умением сохранять хладнокровие в самые ответственные моменты. Этими навыками он был обязан доверчивым и безропотным пациентам, с которыми ему довелось работать сначала в Индии, а потом в Эфиопии. Но когда у сестры Мэри Джозеф Прейз, его неизменного ассистента в течение семи лет, начались роды, все эти достоинства куда-то делись.

В день нашего появления на свет Стоун собирался вскрывать мальчику брюшную полость. Доктор уже привычным жестом растопырил пальцы и протянул руку, чтобы в нее, как всегда, словно сам по себе, лег скальпель. Но впервые за семь лет пальцы не ощутили немедленного холода стали, и это могло означать только то, что рядом не сестра Мэри Джозеф Прейз, а кто-то другой.

«Невозможно», – только и сказал он, когда чей-то сокрушенный голос объявил, что его бессменная ассистентка нездорова. За предыдущие семь лет ни одна операция не обошлась без нее. Ее отсутствие выводило из себя, словно капелька пота, что вот-вот скатится прямо в глаз, когда руки заняты хирургическими манипуляциями.

Производя разрез, Стоун даже не поднял глаз. Кожа. Жир. Фасция. Мускул. Иссечение – и вот она, блестящая брюшина. Палец хирурга скользнул в открывшуюся брюшную полость в поисках аппендикса. И на каждом этапе ему пришлось лишнюю долю секунды ждать или даже отодвигать предлагаемый инструмент и требовать другой. Он беспокоился за сестру Мэри, даже если сам того не признавал или не хотел признаться.

Он обратился к стажерке, юной беспокойной девушке из Эритреи, и попросил разыскать сестру Мэри Джозеф Прейз и напомнить, что доктора и медсестры не могут позволить себе роскоши болеть.

– Спросите ее, будьте любезны (губы перепуганной девчонки шевелились, точно она старалась заучить его слова наизусть, тем временем палец хирурга исследовал внутренности больного куда внимательнее, чем глаза), помнит ли она, что я вернулся в операционную на следующий день после того, как сам себе ампутировал палец?

Это произошло пять лет тому назад и обозначило важную веху в жизни Стоуна. Ковыряясь в заполненной гноем брюшной яме, он умудрился всадить кривую иглу, зажатую в держателе, в мякоть собственного указательного пальца. Стоун немедленно скинул перчатку и сделал себе подкожную инъекцию акрифлавина, 1 миллилитр раствора 1:500, прямо в

канал, оставленный предательской иглой. Затем он обколол также окружающую ткань. Палец окрасился в оранжевый цвет, распух и превратился в подобие гигантского леденца. Но, несмотря на принятые меры, красная полоса поползла от пальца к сухожильному влагалищу. Таблетки сульфатриады перорально и уколы драгоценного пенициллина внутримышечно (доктор Гхош настоял) тоже не помогли: пурпурные прожилки, верный знак стрептококковой инфекции, показались на запястье, а лимфоузел возле локтя сделался размером с мячик для гольфа. Хирурга стал пробирать озноб, зубы защелкали, и койка затряслась. (Позже в его знаменитом блокноте появился очередной «Афоризм Стоуна»: «Если зубы щелкают, это всего лишь дрожь, ну а если койка трясется, это – настоящий озноб».) Он был вынужден принять быстрое решение: ампутировать себе палец, пока инфекция не распространилась дальше.

Стажерка подождала, не присовокупит ли он еще чего, а Стоун тем временем извлек из разреза червеобразный отросток и распрямил, будто рыбак пойманную добычу на палубе судна. На кровоточащие сосуды хирург снайперским движением поставил зажимы, затем перевязал ведущие к аппендиксу сосуды кетгутом и убрал все свисающие зажимы. Движения его были столь стремительны, что пальцев было не разглядеть.

Стоун протянул стажерке свою правую руку для осмотра. Через пять лет после ампутации ладонь на первый взгляд казалась совершенно нормальной, и только если присмотреться получше, становилось заметно, что указательный палец отсутствует. Эстетически этому способствовало то, что палец был удален целиком, между большим и средним пальцем не осталось никакой культи, зазор пошире, вот и все. Четырехпалые перчатки, изготовленные по спецзаказу, еще больше способствовали иллюзии. Физический недостаток не чинил помех в работе, средний палец с течением времени приобрел такую же ловкость, что и указательный, и к тому же был длиннее. Это, к примеру, позволяло извлечь аппендикс из его укрытия за слепой кишкой с большей ловкостью, чем у любого из ныне живущих хирургов. Стоун мог одними пальцами завязать узел в самой глубине операционного поля возле печени, тогда как другим хирургам требовался иглодержатель. Позже, уже в Бостоне, он на практике иллюстрировал свое знаменитое напутствие интернам: *Semper per rectum, Per anum salutem*, если не засунешь палец, дашь маху, – показывая, как его средний даже здесь догнал и перегнал указательный.

Никто из учеников Стоуна не пренебрегал ректальным исследованием пациента, и не только потому, что доктор вколотил им в головы: «Большинство раковых опухолей толстого кишечника прячутся в прямой и сигмовидной кишке и легко прощупываются пальцем», но также и по той простой причине, что он сразу выгнал бы за такое упущение. Многие годы спустя в Америке ходила такая байка. Якобы один из стажеров Стоуна, человек по фамилии Пастор, осмотрев пьяного и вроде бы уврачевав его недуг, уже ночью вдруг вспомнил, что забыл тому засунуть палец в прямую кишку. В страхе, что шеф покарает его за недосмотр, Пастор вскочил и ринулся в ночь. Пациента он обнаружил в баре и за бокал пива уговорил спустить штаны и подвергнуться осмотру – «благословил», так сказать. Только тогда угрызения совести стихли.

В день родов сестры Мэри Джозеф Прейз стажерка в Третьей операционной была прехорошенькая – а пожалуй, что и чрезвычайно красивая, – девушка из Эритреи. К сожалению, ее подчеркнуто суровый настрой и слишком серьезное отношение к работе заставляли людей забыть о ее молодости и красоте.

Не задавая лишних вопросов, она бросилась разыскивать мою маму. Стоуну, разумеется, и в голову не пришло, что его слова могут принести боль. Как это часто бывает с застенчивыми и талантливыми людьми, Стоуну прощали его неумение ладить с окружающими, то, что доктор Гхош назвал «светской неотесанностью». Может, это неумение и раздражало других, но прочие качества незаурядного человека перевешивали этот недостаток.

В год нашего рождения стажерке не исполнилось и восемнадцати, и она еще не очень понимала, что важнее: каллиграфическим почерком заполнять историю болезни (это так нравилось магушке-распорядительнице) или проявлять деятельную заботу о пациентах.

Из пяти стажерок школы медсестер Миссии самый большой стаж был именно у нее, и она очень тем гордилась, стараясь пореже вспоминать, почему так вышло. А штука была в том, что она осталась на второй год. Как выразился доктор Гхош, «занималась по долгосрочной программе».

Сирота с детства (оспа унесла ее родных и чуть тронула щеки ей самой), она с младых лет выказала себя усердной зубрилой – качество, которое старались в ней развить итальянские монахини, сестры *Nigrizia*, воспитывающие ее в приюте в Асмаре. Девочка демонстрировала прилежание, словно это была не просто добродетель, а дар Божий вроде родинки или шестого пальца. Какие надежды она подавала в детстве и отрочестве, перепрыгивая через классы в церковной школе в Асмаре, на каком прекрасном итальянском бегло говорила (не то что многие жители Эфиопии, в чьем киношно-ресторанном итальянском напрочь отсутствовали предлоги и местоимения), как превосходно знала таблицу умножения на девятнадцать!

Можно сказать, сама история определила юную девушку в Миссию. Ее родной город Асмара был столицей Эритреи, колонии Италии с 1885 года. Итальянцы при Муссолини в 1935 году вторглись из Эритреи в Эфиопию, тогда мировые державы и не подумали заступиться. Когда Муссолини поставил на Гитлера, его судьба была предрешена, и к 1941-му отряд полковника Уингейта «Сила Гедеона» нанес итальянцам поражение и освободил Эфиопию. Союзники преподнесли императору Эфиопии Хайле Селассие необычный подарок: прирезали старую итальянскую колонию Эритрею к вновь освобожденной территории Эфиопии. Император как мог лоббировал это решение, его не имеющая выхода к морю страна получала порт Массава, не говоря уж о прекрасном городе Асмаре. Похоже, британцы хотели покарать Эритрею за длительное сотрудничество с итальянцами, тысячи эритрейских *аскари* сражались в рядах итальянской армии, убивали своих черных соседей и умирали бок о бок со своими белыми хозяевами.

Для эритрейцев присоединение их земель к Эфиопии было тяжким ударом, как если бы освобожденную Францию вдруг присоединили к Англии по той лишь причине, что обе страны населяют белые, которые едят капусту. Эритрейцы тут же начали партизанскую войну за свободу.

Но в присоединении Эритреи к Эфиопии были и свои плюсы: так, стажерка получила стипендию на обучение в единственном в стране медицинском училище в Аддис-Абебе, в госпитале Миссии, – первая юная девушка из Эритреи, столь высоко отмеченная. До этой самой точки ее восхождение к вершинам образования было блистательным и беспрецедентным, образцом для ровесников. Самое время судьбе вмешаться и подставить ножку.

Правда, в том, что карьера юной медсестры в клинике не заладилась, судьба оказалась

ни при чем, как ни при чем были и затруднения с амхарским и английским языками (которые она достаточно быстро освоила). Зато выяснилось, что хорошая память («зубрежка», по определению матушки) ни к чему, когда надо у постели больного определить, угрожает ли что-нибудь его жизни. Да, конечно, она могла словно мантру повторить названия всех черепно-мозговых нервов (чтобы ее собственные нервы успокоились). Она могла верно смещать все компоненты *Mistura Carminativa* (один грамм бикарбоната натрия, два миллилитра нашатырного спирта и тинктуры кардамона, ноль шесть миллилитра настойки имбиря, один миллилитр хлороформа, долить мятной водой до тридцати миллилитров) от диспепсии. Но у нее никак не получалось то, что выходило у ее соучениц играючи, – развить в себе единственный дар, которого, по словам матушки, ей не доставало. *Чутье сестры милосердия*. Единственное упоминание об этом самом чутье, которое имелось у нее в тетради и которое она затвердила назубок, повергало девушку в тяжкое недоумение и вызывало только злость.

Чутье сестры милосердия важнее знаний, хотя знания только улучшают его. Чутье сестры милосердия – качество, которое невозможно определить, хотя оно неоценимо в случае наличия, а его отсутствие бросается в глаза. Если перефразировать Ослера, медсестра с книжным знанием, но без чутья подобна моряку на достойном корабле, но без карт, секстанта или компаса. (Разумеется, сестра без книжного знания вообще не должна выходить в море!)

Во всяком случае, наша стажерка вышла в море – уж в этом-то она была уверена. Полная решимости доказать, что карта и компас у нее имеются, она кидалась исполнять любое поручение, до того ей не терпелось показать свой профессионализм и продемонстрировать свое чутье сестры милосердия (или скрыть отсутствие такового).

По переходу между операционной и прочими помещениями госпиталя она мчалась, будто за ней гнался *джинн*. Пациенты и родственники оперируемых сидели на корточках (а то и скрестив ноги) по обе стороны прохода. Босоногий мужчина, его жена и двое маленьких детей трапезничали: совали куски хлеба в миску с чечевичным карри, а младенец, почти полностью скрытый материнской *шамой*, сосал грудь. Семейство тревожно обернулось при виде бегущей девушки, что придало ей важности в собственных глазах. Во дворе женщины в белых *шамах* и алых платках обступили скамейки амбулаторных больных, ну вылитые куры с цыплятами, если смотреть издали.

Она взбежала по лестнице к комнате мамы. На стук никто не ответил, но дверь оказалась незаперта. В полумраке сестра Мэри Джозеф Прейз лежала под одеялом, повернувшись лицом к стене.

– Сестра? – негромко осведомилась стажерка и, услышав в ответ стон, приняла его за знак пробуждения. – Доктор Стоун прислал меня сказать... – Она с облегчением припомнила все, что ей велели передать, подождала ответа и, не дождавшись, подумала, что мама за что-то на нее рассердилась. – Я бы вас не беспокоила, меня доктор Стоун прислал. Извините. Надеюсь, вам лучше. Вам что-нибудь нужно?

Она помедлила еще, пожала плечами и покинула комнату. Поскольку доктору Стоуну в ответ ничего передать не велели, да к тому же начинались занятия по педиатрии, в Третью операционную она не вернулась.

Только во второй половине дня Стоун попал в сестринское общежитие. К тому времени он произвел одну аппендэктомию^[17], две гастроеюностомии^[18] в связи с пептическими язвами^[19], вправил три грыжи, прооперировал водянку яичка, произвел частичную резекцию щитовидной железы и пересадил участок кожи, но, по его понятиям, все это проходило недопустимо медленно. Он понял, что скорость его работы как хирурга в значительной степени – куда более значительной, чем он мог себе представить, – зависела от сноровки сестры Мэри Джозеф Прейз... Почему он должен забивать себе всем этим голову? Где его ассистентка? И когда она вернется?

На стук в дверь угловой комнаты на третьем этаже никто не ответил. Появилась жена рецептурщика с намерением заявить протест против вторжения мужчины. Хотя матушка-распорядительница и сестра Мэри были единственными монахинями на всю Миссию, жена рецептурщика, казалось, тоже не прочь была присоединиться к какому-нибудь воинствующему ордену. Голова у нее была повязана кушаком, распятие на шее никак не меньше револьвера, юбка белая, словно монастырское облачение, – страж невинности, да и только. Будто паучиха, она легко отличала мужские шаги на вверенной ей территории. Однако, увидев, кто это, воительница отступила.

Стоун ни разу не был в комнате сестры Мэри Джозеф Прейз. Печатала и иллюстрировала его рукописи она или у него на квартире, или в кабинете рядом с клиникой.

Он повернул дверную ручку, позвал:

– Сестра! Сестра!

В нос ударил знакомый запах, не на шутку встревоживший, только было непонятно, откуда он взялся.

Доктор провел рукой по стене в поисках выключателя и не нашел его. Выругался, шагнул к окну, ударился о комод, потянул на себя рамы и распахнул деревянные ставни. Узкую комнату залил свет.

Солнечные лучи высветили стоящую на комодe тяжелую банку с завинчивающейся крышкой, доверху заполненную янтарной жидкостью. Поначалу ему показалось, что в банке какая-то реликвия, мощи. Тело покрылось мурашками, когда, опережая разум, узнало, что это. В жидкости, ногтем вниз (вылитая балерина, привставшая на пуанты), плавал его палец. Кожа возле ногтя своей текстурой напоминала старый пергамент, а на подушечках проступали лиловые пятна инфекции. Сосущее чувство охватило Стоуна, правая рука отозвалась зудом, снять который мог бы только этот самый палец, если бы вернулся на законное место.

– Я и не знал... – повернулся он к своей ассистентке – и сразу забыл, о чем хотел сказать.

Сестра Мэри Джозеф Прейз лежала на узкой койке, и весь облик ее отражал страшные мучения. Губы синие, тусклые глаза устремлены в никуда, лицо заливают смертельная бледность. Стоун пощупал ей пульс. Частый и слабый. Нахлынуло непрошеное воспоминание о плавании на «Калангуте» – перед глазами встал образ сестры Анджали в лихорадке и коме. Подступило чувство, которое он, как хирург, испытывал нечасто: страх.

У него ослабели ноги.

Стоун опустился возле койки на колени.

– Мэри? – позвал он. Потом еще. Имя поначалу звучало как вопрос, потом как ласка, потом как признание в любви. – Мэри? Мэри, Мэри!

Она не отвечала. Не могла ответить.

Неслыханное дело, он потянулся к ее лицу, поцеловал в лоб и с внезапной болезненной гордостью осознал, что любит ее, что он, Томас Стоун, не только способен любить, что он не представляет себе жизни без нее – вот уже семь лет. Если он не сознавал этого, то лишь потому, что все произошло слишком быстро: вот он подхватывает ее на скользком трапе «Калангута» – и вот она уже выхаживает его, обмывает, возвращает к жизни. Он полюбил ее, когда она, напрягая все силы, перетаскивала его тяжелое тело в гамак, когда кормила с ложечки. Он полюбил ее, когда они вместе склонялись над телом сестры Анджали. Своего апогея любовь достигла, когда сестра Мэри Джозеф Прейз перебралась в Эфиопию, чтобы работать вместе с ним, и с тех пор это чувство не ослабевало. Ровное и сильное, оно обходилось без взлетов и падений, без приливов и отливов, так что он целых семь лет не замечал его, ибо воспринимал как нечто само собой разумеющееся, как сложившийся порядок вещей.

Любила ли его Мэри? Да, любила. В чем, в чем, а в этом он был уверен. Но, послушная его намеку – всегда послушная его малейшим желаниям, – она помалкивала на этот счет. А он что делал все эти годы? Пользовался. *Мэри, Мэри, Мэри.* Даже звук ее имени оказался для него открытием, иначе как «сестра» он ее никогда не называл. В ужасе, что потеряет ее, он глухо зарыдал, но и в этом увидел проявление эгоизма, желание, чтобы она снова оказалась рядом. Сможет ли он все исправить? Разве можно быть таким дурнем?

Сестра Мэри едва ли заметила его прикосновение. Щека у нее была куда горячее, чем у него. Он поднял одеяло. Глазам его предстал сильно вздувшийся живот.

Он всегда руководствовался аксиомой, что когда у женщины вздут живот, это беременность, если только не доказано обратное. Но его разум не принял, отверг эту мысль: все-таки перед ним была монахиня. В голове замелькали возможные диагнозы: кишечная непроходимость... асцит... геморрагический панкреатит... словом, *что-то* серьезное в брюшной полости.

Ухватив Мэри в охапку, он протиснулся в дверь, кряхтя от напряжения, пронес ее вниз по лестнице, по переходу к операционной зоне. Монахиня оказалась куда тяжелее, чем, по мнению Стоуна, следовало.

В Эдинбурге в Королевском колледже хирургии главный экзаменатор задал ему вопрос на устном экзамене (письменный Стоун уже успешно сдал): «Что надо проделать с органом слуха в качестве первой помощи при шоке?» Ответ Стоуна: «Вложить в него слова поддержки!» – вошел в анналы. Но сейчас, будто забыв об ободряющих и укрепляющих дух словах, что принесли бы несомненный терапевтический эффект, доктор громко взывал о помощи.

На его вопли, подхваченные стражем невинности, сбежались все, включая сторожа Гебре, что примчался от главного входа в сопровождении больничной собаки Кучулу и двух безымянных псов-побродяжек.

Вид рыдающего Стоуна потряс матушку-распорядительницу не меньше, чем ужасное состояние сестры Мэри Джозеф Прейз.

«Господи, он опять!» – первое, что пришло матушке в голову.

Дело в том, что со дня своего прибытия в Миссию Стоун три или четыре раза впадал в запой (что составляло тщательно охраняемую тайну). Оставалось только недоумевать, как подобное могло стрястись с человеком, который почти не пил и до того обожал свою работу, что забывал про сон. Запой приходили с внезапностью инфлюэнцы и свирепостью одержимости. По графику назначенный на утро пациент уже должен был лежать на

операционном столе... а доктор Стоун отсутствовал. Когда это произошло в первый раз, бросились на поиски. Расхристанный белый человек метался по своей квартире и что-то неразборчиво бормотал. Он не спал, не ел, по ночам выскальзывал в город, чтобы пополнить запасы рома. В последний раз пьяное существо забралось на дерево под своим окном и просидело на нем несколько часов, словно курица на насесте. При падении с такой высоты он бы точно разможил себе голову. Матушка, глянув раз в налитые кровью бессмысленные глаза, уставившиеся на нее с высоты, бежала, поручив сестре Мэри и Гхошу вести уговоры и переговоры: слезайте, съешьте что-нибудь, протрезвитесь.

Запой заканчивались столь же внезапно, как и начинались. Два, максимум три дня – и Стоун, отоспавшись, как ни в чем не бывало возвращался к работе. Сам он никогда не упоминал о том, в какое неловкое положение поставил госпиталь, помалкивали на этот счет и окружающие: вдруг Стоун в своей непьющей ипостаси обидится. А производительность у этой непьющей ипостаси была такая, что и трем хирургам на полной ставке впору. А уж эти эпизоды... что ж, не такая большая цена.

Матушка оставила без внимания причитания хирурга насчет заворота кишок, непроходимости и туберкулезного перитонита.

– В операционную! – только и сказала она, а прибыв на место, присовокупила: – Положите ее на стол.

Глазам матушки предстала картина, которую она уже наблюдала семь лет тому назад: в области лобка одеяние сестры Мэри было пропитано кровью. Кровавое пятно на облачении вызвало точно такие же тревожные мысли. Матушка тогда не осмелилась напрямую спросить девятнадцатилетнюю девушку, в чем причина кровотечения. Неправильная форма пятна толкала наблюдателя на различные выводы, заставляла фантазию матушки работать. По прошествии стольких лет память перевела событие из разряда таинственных в мистические.

Поэтому-то матушка смотрела на руки и грудь сестры Мэри Джозеф Прейз таким взглядом, будто ожидала увидеть кровотокащие стигматы, перерождение одной загадки в другую. Оказалось, однако, что кровь была только на вульве. Много крови. С темными сгустками. По бедрам стекали ярко-красные ручейки. У матушки не осталось никаких сомнений: на этот раз кровотечение никак не связано с религией.

Вздувшийся живот не привлек внимания матушки, она не сводила глаз с промежности. Синие половые губы вздулись, палец в перчатке выявил, что шейка матки полностью расширена.

Слишком много крови. Матушка применила тампоны и смогла получше рассмотреть заднюю стенку вагины. Когда из легких пациентки вырвался жалобный вздох, у матушки затряслись руки и она чуть не выронила зеркало. Наклонилась ниже, напряженно всмотрелась. Перед ней камнем на дне скважины маячила голова ребенка.

– Господи, да ведь она же... – произнесла матушка, когда к ней вернулся дар речи, кощунственное слово будто прилипло к гортани, – беременна.

Все свидетели, с которыми я позже говорил, запомнили это мгновение. Казалось, атмосфера в Третьей операционной сгустилась и даже громкое тиканье часов стихло.

– Не может быть! – прохрипел Стоун уже во второй раз за сегодняшний день, и хотя эти слова явно расходились с действительностью, присутствующие почему-то облегченно вздохнули.

Но матушка-то знала, что права.

И ведь это ей придется принимать ребенка. Доктора К. Хемлаты – а для них для всех Хемы – нет на месте.

Матушка приняла сотни детей и сейчас постаралась взять себя в руки.

Прочь сомнения! Но что ей делать со стыдом? Христова невеста – и беременна? Невероятно! Разум отказывался принять это. Но ведь вот оно, неопровержимое доказательство, голова ребенка – прямо у нее перед глазами!

Эти же мысли тревожили операционную сестру, босоногую санитарку и сестру Асквал – анестезиолога. Они засуетились вокруг стола, опрокинули стойку для капельницы. И только стажерка, которую мучила совесть за утренний недосмотр и неоказание помощи, все гадала, от кого понесла сестра Мэри.

Сердце матушки, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

– Господи, ну почему ребенок должен появиться на свет в таких жутких условиях? Беременность – смертный грех. Будущая мать мне вместо дочери. Обильное кровотечение, бледность...

Да тут еще и Хема, единственный гинеколог Миссии, не просто лучший специалист в стране, но лучше которого матушка никогда не встречала, в отсутствии.

Бакелли с Пьяццы худо-бедно разбирался в родовспоможении, но после двух часов дня к его услугам лучше было не прибегать, и к тому же его теперешняя любовница-эфиопка с глубоким подозрением относилась к «вызовам на место». Жан Тран, улыбчивый полуфранцуз-полувьетнамец, был на все руки мастер. Но даже если предположить, что кого-то из этих двоих найдут, сколько времени пройдет, пока кто-нибудь из мужчин явится.

Нет, придется все сделать самой, забыть о том, что беременная – монахиня, сосредоточиться, вздохнуть и принять роды. Самые обычные.

Но в тот день события никак не желали идти обычным путем.

Стоун стоял, ожидая от матушки указаний, а матушка ждала, когда выйдет младенец. Хирург то скрещивал руки на груди, то опускал. Он видел, что сестра Мэри Джозеф Прейз все сильнее бледнеет. И когда медсестра Асквал голосом, полным отчаяния, возвестила о кровяном давлении («Систолическое – восемьдесят, прощупывается»), Стоун зашатался, словно вот-вот потеряет сознание.

Несмотря на маточные сокращения и на раскрытую шейку, ничего не происходило. Голова младенца в глубине чем-то напоминала матушке лысину епископа, торчащую из воротника. Но епископ не двигался. Да еще это кровотечение! Большая темная лужа образовалась на столе, а кровь все прибывала. Для родильных палат и операционных кровь – дело привычное, но уж очень ее было много.

– Доктор Стоун, – пролепетала матушка трясущимися губами, но Стоун никак не мог понять, зачем она его зовет. – Доктор Стоун, – повторила матушка.

Та, у кого есть чутье сестры милосердия, обязана знать, где предел ее возможностей. *Ради всего святого, ей нужно произвести кесарево сечение.* Но матушка не произнесла этих слов, неизвестно еще, как бы они подействовали на Стоуна. Вместо этого она отодвинулась, уступая место между раздвинутых ног сестры Мэри, и жестом пригласила Стоуна.

– Доктор Стоун. Ваш пациент, – сказала она человеку, которого все считали моим отцом. Тем самым она вверяла ему не только жизнь женщины, которую он любил, но и наши две жизни – мою и брата. Тех, кого он предпочел возненавидеть.

Глава третья. Врата слез

Когда у сестры Мэри Джозеф Преиз начались схватки, доктор Калпана Хемлата, женщина, которую мне суждено будет называть мамой, находилась на расстоянии пятисот миль от Третьей операционной – на высоте в десять тысяч футов. Под крылом самолета открывался чудесный вид на Баб-Эль-Мандеб, или Врата Слез, прозванный так из-за неисчислимых кораблекрушений, происшедших в этом узком проливе, что отделяет Йемен и прочую Аравию от Африки. На этой широте Африку представляют лишь Эфиопия, Джибути и Сомали, занимающие Африканский Рог. Хема проследила взглядом, как Врата Слез из трещинки шириной с волосинку превращаются в Красное море, простирающееся на север до самого горизонта.

Мадрасской школьницей Хема на уроках географии помечала на карте Британских островов, где производится шерсть и уголь. Африка в школьной программе представляла собой некую площадку, где сталкивались интересы Португалии, Британии и Франции, где Ливингстон открыл живописный водопад, который назвал в честь королевы Виктории, и где Стэнли нашел Ливингстона. В будущем, когда мы с братом Шивой и Хемой отправились в путешествие, она припомнила свои уроки географии.

– Представьте себе полоску воды вроде разреза на юбке, которая разделяет Саудовскую Аравию и Судан, а выше – Иорданию и Египет. Полагаю, Бог старался оградить Аравийский полуостров от Африки. Почему бы и нет? Что общего между людьми с противоположных берегов?

Венчает разрез узкий перешеек, Синайский полуостров, по замыслу Господню соединяющий Египет и Израиль. Рукотворный Суэцкий канал связывает Красное море со Средиземным и позволяет судам не пускаться в долгое плавание вокруг континента. Хема часто нам рассказывала, что именно над Вратами Слез на нее снизошло просветление, которое изменило всю ее жизнь.

– В этом самолете я услышала зов. Теперь-то я знаю: это были вы.

Казалось бы, трясущаяся военно-десантная жестянка – не слишком подходящее место для прозрения. А вот подожди ты...

Хема сидела на боковой деревянной скамейке, что тянулась вдоль ребристого фюзеляжа DC-3. Она и не подозревала, что именно сейчас ее услуги позарез нужны в Миссии, в госпитале, где она трудилась вот уже девять лет. Полчаса полета, полчаса назойливого громкого жужжания двух моторов – и ей стало казаться, что зуд поселился в ее теле навеки. Жесткая скамья, тряска, боль в спине – ее точно везли с горки на горку по ухабистой дороге в телеге, запряженной волами.

С ней вместе из Адена в Аддис-Абебу летели индусы из Гуджарата, малайцы, французы, армяне, греки, йеменцы и еще несколько человек, определить национальность которых по платью и говору было затруднительно. На самой Хеме было белое хлопковое сари, желтоватая блуза без рукавов, а ее левую ноздрю украшал бриллиант. Волосы у нее были посередине разделены на пробор и сзади заколоты, а через плечи перекинута косичка.

Она села так, чтобы глядеть в иллюминатор. По воде скользил серый дротик – тень от самолета, будто громадная рыбина следовала за ними по пятам. Море казалось прохладным и манящим – не то что внутренности самолета, где вроде бы стало не так душно, но коктейль

из ароматов человеческих тел только сгустился. От арабов пахло затхлым амбаром, азиаты вносили нотку имбиря и чеснока, от европейцев веяло прокисшим молоком и детской.

За наполовину задернутой занавеской виднелся профиль пилота. Когда летчик оборачивался, чтобы взглянуть на груз, зеленоватые тени скрадывали его лицо, один нос торчал. Садясь в самолет, Хема обратила внимание на его бледный лоб и красные, как у мангуста, глаза. В дыхании его ощущался запах можжевельных ягод – свидетельство пристрастия к джину. Хема почувствовала к мужчине отвращение еще прежде того, как он разинул рот и, поторапливая пассажиров, гаркнул «*Allez!*» – словно перед ним были не люди, а животные. Ей стоило большого труда сдержаться – все-таки этот человек поднимет их в воздух.

Лицо летчика с оттопыренными ушами напоминало рисунок ребенка, сделанный карандашом на оберточной бумаге. Но подробностей – сеточку сосудов на щеках, черные крашенные бакенбарды, белое кольцо помутневшей роговой оболочки вокруг зрачка, седые брови – ребенок уже не изобразил бы. Она поражалась, как человек может не видеть в зеркале, насколько нелепа его внешность.

Хема пригляделась к собственному отражению в иллюминаторе. Лицо у нее тоже круглое, широко открытые глаза, задорный кукольный нос. Выделялось красное *pottu* посередине лба. Кобальт морской воды, коснувшийся щек, придавал ей чуть воинственный вид и подчеркивал необычный для индуски зеленый цвет глаз.

– Твои глаза влекут всех мужчин, они у тебя всегда страстные, чувственные, – говаривал доктор Гхош. – Они сводят меня с ума!

Гхош был насмешник и пустослов. Сказал – и забыл. Но эти слова запали Хеме в душу. Она припомнила волосатые руки Гхоша и содрогнулась. Волосатость с детства выводила ее из себя, хоть она и знала, что это всего-навсего предрассудок. А Гхоша шерсть покрывала, будто гориллу, завитки волос пробивались из-под майки и налезали на воротничок.

– Сводят с ума? Вот распутник, – пробормотала она с улыбкой, словно Гхош сидел напротив нее.

Но в одном Гхош был прав, следует отдать ему должное. Стоило ей посмотреть на мужчину хоть на секундочку дольше, чем следовало, как излишнее внимание со стороны представителя противоположного пола было обеспечено. Отчасти поэтому она носила особо большие очки, отчего глаза за стеклами казались меньше и тусклее. Ей нравился в себе задорный изгиб верхней губы... а вот щеки казались слишком уж пухлыми. Что поделаешь? Она крупная женщина. Не толстая, а крупная... Ну, может, чуть толстовата, пару-другую лишних килограммов она в Индии прибавила, но разве откажешься от вкуснейшей маминой стряпни? Ничего, я высокая, убеждала она себя. В сари почти ничего не заметно.

Она проворчала под нос что-то невнятное, вспомнив, что доктор Гхош придумал для нее особое определение: *корпулентная*. Годы спустя, когда индийские фильмы с их песнями и танцами завоюют Африку, ребята из отделения скорой помощи в Аддис-Абебе назовут ее Мать Индия, причем вовсе не в насмешку, а со всем почтением к душещипательной ленте с тем же названием, в которой играла Нарджис. «Мать Индия» целых три месяца шла в «Театре Империи», а затем переместилась в «Синема Адова», точно так же безо всяких субтитров. Ребята из отделения скорой помощи распевали *Duniya Mein Hum Aaye Hain* – «Мы прибыли в этот мир», не зная ни слова на хинди.

«Если уж я корпулентная, то каков ты? – пробормотала Хема, мысленно оглядывая старого приятеля с головы до пят. Красавчиком его назвать было трудно. – Как насчет

“чокнутый”? Сильно сказано, конечно, но тебе ведь правда нет никакого дела до собственной внешности. Прямо-таки искушение для всех остальных. Неухоженность превращается в привлекательность. Говорю это потому, что ты далеко. Находиться рядом с человеком, чья самоуверенность порядком превосходит первое о нем впечатление, – это искушение».

Во время отпуска имя Гхош самым таинственным образом то и дело всплывало в разговорах с матерью. Хотя Хема и не выказывала никакого интереса к замужеству, мать все равно была в ужасе, что дочь выскочит за человека не из браминов, вот вроде Гхоша. Хотя с другой стороны, Хеме уже под тридцать, и самый заваливающий муж был бы все-таки лучше, чем вовсе никакого.

– Говоришь, он некрасив? А что с цветом кожи?

– Мама, он светлокожий... светлее меня, и у него карие глаза. Как у парса, бенгальца... Может, у кого-то еще.

– А он кто?

– Он называет себя «высшей кастой мадрасских дворняжек», – хихикнула Хема.

Мать сразу насупилась, и Хема сменила тему.

Ко всему прочему, невозможно было достоверно описать Гхоша человеку, который его никогда не видел. Она могла бы рассказать, что волосы у него гладко причесаны и разделены на пробор, – вид вполне благообразный... с утра и в течение минут десяти, после чего на голове воронье гнездо. Она могла бы рассказать, что в любое время дня щеки у него щетинистые, даже если доктор только что побрился. Она могла рассказать, что у него имеется животик, который он невольно выпячивает и который подрагивает при ходьбе. Да еще голос... резкий и пронзительный, словно кто-то выставил регулятор громкости на максимум, да так и оставил. Как убедить мать, что все эти качества вместе взятые вовсе не отталкивают, а, напротив, придают Гхошу странную привлекательность?

Несмотря на сыпь на руках – след от ожога, – пальцы у него были чувствительные. Причиной ожога послужил древний рентгеновский аппарат «Келли-Коэт». При одной мысли об этом музейном экспонате Хема выходила из себя. В 1909 году император Менелик, прослышав о замечательном изобретении, которое вмиг разделается со всеми его врагами, закупил электрический стул. Когда оказалось, что стулу нужно электричество, император нашел ему применение в качестве трона. Похожая история случилась и с рентгеновским аппаратом. «Келли-Коэт» в тридцатые годы выписала американская миссия, которая, впрочем, быстро осознала, что электричество в Аддис-Абебу подается с перебоями, а напряжение в сети недостаточно. Когда американцы убрались, драгоценный аппарат так и остался нераспакованным. Госпиталю Миссии рентгеновский аппарат был нужен позарез, и Гхош, поколдовав над ним, подключил устройство через трансформатор.

Никто, кроме Гхоша, не осмеливался прикасаться к чудовищу. Пук кабелей шел от гигантского выпрямителя к трубке Кулиджа, смонтированной на направляющих, по которым ее можно было перемещать туда-сюда. Гхош трудился над круговыми шкалами и переключателями напряжения, пока между двумя латунными проводниками с оглушительным треском не проскакивала искра. Эту огненную дугу, при виде которой один парализованный соскочил с носилок и кинулся наутек, Гхош прозвал «лечебный курс *Sturm und Drang*». Уж тридцать лет, как компания-производитель канула в лету, а хитрое устройство тщаниями Гхоша все еще было на ходу. На экране он наблюдал за бьющимся сердцем и за кавернами в легких, мог определить, где образовалась опухоль – на кишке или на селезенке. Первое время он не считал нужным возиться с перчатками или свинцовым

фартуком, и последствия такого обращения четко проявились на коже рук.

Хема попыталась представить себе, какими словами Гхош рассказывает о ней своей матери.

Ей двадцать девять лет. Да, в Мадрасском медицинском колледже мы учились на одном курсе, но она на несколько лет меня младше. Понятия не имею, почему она не замужем. Пока мы не поработали интернами в инфекционном отделении, мы были едва знакомы. Она акушерка. Из касты браминов. Да, из Мадраса. Она уже девять лет живет и работает в Эфиопии.

Эти сведения определяли биографию Хемы и вместе с тем почти ничего о ней не говорили и ничего не объясняли. Прошлое бежит от путника, подумалось ей.

Хема закрыла глаза и представила себя девочкой с двумя хвостиками на голове, в длинной белой юбке и белой блузе под половинкой лилового сари. В средней школе миссис Худ в Милапоре все девочки были обязаны носить эту самую половинку, кусок ткани, раз обернутый вокруг юбки и сколотый на плече булавкой. Хема терпеть не могла эту одежду: ни то ни се, не взрослая и не ребенок, а какая-то полуженщина. Учительницы носили полноценные сари, а сама distinguished госпожа директор щеголяла в юбке. Хема довозмушалась до того, что заработала отцовскую нотацию.

Ты хоть сознаешь, как тебе повезло, что директрисой у вас британка? Знаешь, сколько народу стремилось попасть в эту школу, готовы были заплатить вдсятеро, но миссис Худ их не приняла. Для нее только личные достоинства играют роль. Или ты хочешь в мадрасскую муниципальную школу?

Так что Хема была принуждена изо дня в день носить ненавистную одежду, и ей казалось, будто, полураздетая, она выставляет на продажу частицу своей души.

Велу, сын соседа, одно время бывший ее лучшим другом, но годам к десяти сделавшийся совершенно невыносимым, любил забираться на разделявшую участки стену и дразниться:

Девчонки в лиловых юбчонках, парле-ву?

Девчонки в лиловых юбчонках, парле-ву?

Юбчонки лиловые,

Девчонки фиговые,

У миссис Худ

Никак не растут и ревут, парле-ву!

Она не обращала на него внимания. Велу, особенно смуглый по сравнению с ней, не уставал повторять:

– Ты так гордишься своей светлой кожей. Смотри, как бы обезьяны не приняли тебя за плод хлебного дерева и не надкусили.

Вот Хеме одиннадцать лет, она отправляется в школу, велосипед «Рэли» кажется таким огромным рядом с ней, с плеча свисает *санджи* с кистями (там учебники), ремешок впивается в тело между грудями. В ее фигуре, движениях, в том, как неторопливо она крутит педали, уже угадывается будущая солидность.

Велосипед, некогда такой громадный и страшный, становится под ней все меньше, а груди по обе стороны ремешка от *санджи* делаются все больше, на лобке пробиваются

волосы (как бы Велу ни дразнился, она все-таки растет). Хема хорошо учится, она староста, капитан волейбольной команды, подает большие надежды в «Бхаратанатьям»^[20], точно повторяет самые сложные комбинации движений в танце, увидев их всего один раз.

Она не стремится в компании и не старается отгородиться от людей.

«Что это ты вечно такая сердитая?» – спросила раз у Хемы близкая подруга, и та очень удивилась и даже немного испугалась. Ее независимость приняли за недовольство. В медицинском колледже (на ней уже было полноценное сари, и ездила она на автобусе) это качество (независимость, а не недовольство) проявилось вполне. Кое-кто из сокурсников считал ее зазнайкой. Прочие поначалу липли как мухи на мед, но очень скоро понимали, что ничего из этого не выйдет. Мужчинам от подруг требовалась гибкость, а из нее никак не выходило ни жеманницы, ни дурочки. Парочки, со словами любви жавшиеся в библиотеке друг к другу над огромными анатомическими атласами, вызывали у нее изумление.

У меня нет времени на такие глупости.

Однако на чтение бульварных романов о похождениях какой-нибудь Бернадетты в замках и коттеджах время находилось. Она пускалась в фантазии о красавцах и смельчаках из богатого поместья со звучным названием вроде Чиллингфореста, Локкингвуда или Ноттипайна. В этом была ее беда – она грезилась о любви, далеко превосходящей книжную. Ко всему прочему, ее переполняли неясные амбиции, ничего общего с любовью не имеющие. Чего именно ей хотелось? Трудно сказать. Во всяком случае, не того, к чему стремились другие.

Когда в Мадрасском медицинском колледже вдруг оказалось, что Хема питает особо восторженное чувство к профессору терапии (единственному индусу в учебном заведении, где даже после прихода независимости большинство штатных профессоров были британцы), восхищается его человечностью, знанием предмета (учти, Хема, это – страсть), когда оказалось, что она хочет к нему в дублеры, а он согласен, она решительно сменила специализацию. Нельзя, чтобы кто-то получил над ней такую власть. И она выбрала акушерство и гинекологию, а не терапию. Если предмет профессора был неограниченно широк, от инфаркта до полиомиелита включительно, и требовал соответствующих знаний, то Хема выбрала иное поле деятельности, значительно более узкое и включающее в себя механический компонент – операции. Их перечень был не столь обширен: кесарево сечение, гистерэктомии, пролапс.

Она открыла в себе талант к манипуляционному акушерству, заделалась экспертом в определении предлежания плода, находила вкус в том, чего прочие акушеры просто боялись. Она вслепую могла определить, какие это щипцы, левые или правые, и правильно применить их, даже если ее разбудить ночью. Она могла наглядно представить себе изгиб таза пациентки и сопоставить его с формой черепа младенца, верно направить щипцы и ловко извлечь ребенка.

За границу она поехала под влиянием внезапного порыва. Но Мадрас остался у нее в сердце. Она долго еще плакала по вечерам, стоило ей представить, как родители рассаживаются на стульях на свежем воздухе в ожидании ветерка с моря, который обязательно задувал в сумерки даже в самые жаркие и душные дни. А уехала она потому, что все были решительно настроены против браминов и она бы никогда не получила должность в государственной больнице и не приобрела необходимый опыт. Ей было приятно думать о том, что она сама, Гхош, Стоун и сестра Мэри Джозеф Преиз работали и стажировались в

Мадрасе в Правительственной больнице общего профиля, пусть и в разное время. Тысяча пятьсот коек и еще два раза по столько мест между койками и под ними – целый город, что ни говори. Сестра Мэри Джозеф Прейз тогда еще была послушницей, подающей большие надежды стажеркой, – как это они не встретились! И, подумать только, Томас Стоун тоже какое-то время пребывал в должности в Правительственной больнице! Правда, родильный дом находился в отдельном здании, так что пути Хемы со Стоуном никак не могли пересечься.

Позади остался Мадрас, позади осталась ее каста со всеми условностями, здесь слово «брамин» не значило ровным счетом ничего. Работая в Эфиопии, она каждые три-четыре года старалась выбраться домой. Вот и сейчас она возвращалась уже после второй такой поездки. Она сидела в грохочущем самолете и размышляла, правильный ли совершила выбор. За последние несколько лет она, кажется, нащупала верное определение амбициям, забросившим ее в дальние края. *Любой ценой избежать стадности.*

В Миссии она сразу почувствовала себя в своей тарелке, совсем как в Правительственной больнице общего профиля, только размах не тот: очереди, целые семьи разбивают лагерь под деревьями и с бесконечным терпением ждут (а что еще им остается?). По правде говоря, ей доставляли тайное удовольствие экстренные случаи, когда душа уходила в пятки, на счету была каждая секунда и жизнь матери или младенца висела на волоске. В такие мгновения всякие сомнения в правильности выбора улетали прочь, жизнь приобретала резкие очертания, исполнялась значения безо всяких мысленных усилий, и Хема становилась лишь инструментом спасения.

Правда, в последнее время она остро чувствовала разрыв между своей практикой в Африке и достижениями медицины, что применяются в Англии и Америке. Си Уолтон Лиллехай из Миннеаполиса именно в этом году открыл эру операций на остановленном сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Изобрели вакцину против полиомиелита, хоть она еще и не добралась до Африки. В Гарварде, штат Массачусетс, доктор Джозеф Мюррей успешно пересадил почку от одного родственника другому. Она видела в «Тайм» его фото – самый обычный с виду парень. А что, если и она способна на серьезное открытие?

Хема всегда обожала истории вроде той, как Пастер открыл микробов или как Листер ставил эксперименты с антисептикой. Для каждого индийского школьника примером был сэр Ч. В. Раман, чьи несложные эксперименты со светом были удостоены Нобелевской премии^[21]. Но сейчас она проживала в стране, которую не всякий мог найти на карте. («Африканский Рог, верхняя половина, восточное побережье, та его часть, что смахивает на голову носорога и указывает на Индию», – объясняла она.) Еще меньше людей знало про императора Хайле Селассие или помнило, что журнал «Тайм» в 1935 году провозгласил его «человеком года», не говоря уже о стране, от имени которой тот обратился в Лигу Наций.

Конечно, на прямой вопрос Хема бы ответила: «Да, я занимаюсь любимой работой, которая меня вполне удовлетворяет». Только что еще она могла сказать? Статьи в «Хирургической гинекологии и акушерстве» (ежемесячные номера прибывали морем в покрытых пятнами крафтовых конвертах и с опозданием в несколько недель) казались ей фантастикой, восхищали и вместе с тем бесили, тем более что новости были уже несвежие. Она убеждала себя, что ее работа, ее тяжкий труд в Африке определенным образом способствует прогрессу, вести о котором приносит журнал. Но в глубине души знала, что это не так.

Послышался новый звук – скрежет дерева о металл. В хвосте самолета стояли две громадные деревянные клетки, там же громоздились штабеля цыбиков с чаем, перевязанные тонкими лентами со штампом LONGLEITH ESTATES, S.INDIA. Привязанная к распоркам сетка не позволяла грузу обрушиться на пассажиров, зато туда-сюда по полу он елозил свободно. Под ногами валялись пухлые джутовые мешки. Стершиеся армейские надписи виднелись на полу и на серебристом фюзеляже. Здесь когда-то размышляли о своей судьбе американские солдаты, переброшенные в Северную Африку, а может, и сам генерал Паттон. Или же самолет когда-то принадлежал французам и летал в колониях вроде Сомали и Джибути? Мысль перевозить пассажиров явно пришла владельцам авиалинии с их б/у самолетами и пожилыми пилотами в последнюю минуту. Престарелый летчик кричал что-то в микрофон, оживленно размахивал руками, прерывался, чтобы выслушать ответ, и снова начинал орать. Пассажиры, сидевшие ближе к носу, нахмурились.

Хема еще раз вытянула шею, чтобы посмотреть на ящик со своим «Грюндигом», но его не было видно. Стоило ей подумать о своем экстравагантном приобретении, как ее начинала мучить совесть. Хотя покупка до некоторой степени скрасила ночь в Адене. Этот город, построенный в кратере дремлющего вулкана, – сущий ад на Земле, зато торговля в нем беспощинная. Да еще и Рембо когда-то там жил... правда, не написал ни строчки.

Она прикинула, где именно поставит «Грюндиг» в своей гостиной. Лучше всего получалось под черно-белым изображением Ганди в рамке. А для Махатмы придется найти местечко поспокойнее.

Она представила себе, как Гхош потягивает свой бренди, а матушка, Томас Стоун и сестра Мэри Джозеф Преиз попивают херес или чай. Ее воображению явился образ Гхоша, вскакивающего на ноги при первых же тактах *Take the «A» Train*^[22]. Потом следует нахальная мелодия – и не подумаешь никогда, что такое начало перетечет в такое продолжение. Ох уж эти первые аккорды... как она их слушала! И как сопротивлялась их обаянию – она терпеть не могла поклонения всему иностранному, столь расхожему среди индусов. Но эти ноты снились ей, она мурлыкала их про себя в ванной, – неблагозвучные, готовые разлететься на части, слитые воедино по одной лишь прихоти, эти ноты воплощали для нее все неординарное, смелое и достойное восхищения, что только было в Америке. Ноты, родившиеся в голове черного по имени Билли Стрэйхорн.

С джазом и этой песенкой ее когда-то познакомил Гхош.

– Подожди... Внимание! Чувствуешь? – восклицал он, когда после вступительных аккордов полилась мелодия. – У тебя на лице сама возникает улыбка, от нее никуда не денешься.

И он был прав – таким броским и радостным оказался мотив. Ей очень повезло, что знакомство с западной музыкой началось именно с этой вещи. Хеме порой даже стало казаться, что она сама наткнулась на нее, а Гхош тут совершенно ни при чем. Просто курам на смех, до чего ей нравится Гхош, несмотря на все ее старания внушить себе отвращение к нему.

Но именно сейчас, когда в голове копошились все эти мысли и Хема уже предвкушала прибытие в Аддис-Абебу, с языка сорвалось имя бога Шивы: DC-3, рабочая лошадка воздушных перевозок, вдруг затрясся, словно смертельно раненный.

Она посмотрела в иллюминатор. Пропеллер с ее стороны резко сбавил обороты, а из-

под внушительного обтекателя двигателя повалил дым.

Самолет заложил правый вираж, и Хему прижало к окну. Из груди пассажиров исторгся крик, чей-то термос шваркнулся о борт и, расплескивая чай, покатился дальше. Хема замахала рукой в поисках перекладины, за которую можно было бы ухватиться, но тут самолет выровнялся и, казалось, завис в воздухе, после чего начал резко снижаться. Однако желудок ей тут же подсказал – никакое это не снижение, а падение. Гравитация ухватила серебристую птичку своими щупальцами и рванула вниз, в воду. Мягкого приводнения не будет, ведь у самолета колеса, а не поплавки, и вода мигом поглотит его. Пилот что-то вопил, это была ярость, а не паника, и Хема даже не успела задуматься, до чего это странно.

Многие годы спустя, когда Хема, вспоминая эти мгновения, попыталась взглянуть на происходившее с точки зрения клинициста («Зри в корень! Когда и как все началось? Отправная точка – это все. Диагноз кроется в анамнезе!» – говаривал ее профессор), она поняла, что перемена в ней назревала исподволь, долгие месяцы. А проявилась в те мгновения, когда самолет падал в Баб-Эль-Мандеб.

Маленький мальчик-индус – сын единственной малайяльской пары на борту (родители, несомненно, учительствовали в Эфиопии, она это поняла с первого взгляда) – ткнулся ей в грудь. В руке у тщедушного мальчика, утопавшего в мешковатых шортах, был зажат деревянный самолетик – ребенок весь полет оберегал его, словно игрушка была из золота. Нога мальчика застряла между двух мешков, и он повалился на Хему, когда самолет вышел из виража.

Она прижала мальчика к себе. Его глаза были полны ужаса и боли. Хема провела ладонью по его голени – тоненькие как веточки, косточки прогибались, перелом вряд ли будет чистым. Несмотря на то что самолет терял высоту, ее пальцы не утратили восприимчивости.

Молодой армянин, да будет благословенна его предприимчивость, закопошился, пытаясь высвободить ногу мальчика. Как ни удивительно, юноша улыбался, пытался сказать что-то ободряющее. Хему потрясло, что кто-то на борту среди всех этих воплей был спокойнее, чем она сама.

Она усадила мальчика себе на колени. Мысли у нее были ясные и вместе с тем бессвязные. *Нога высвобождена, но кость наверняка сломана, самолет падает.* Хема жестом остановила родителей мальчика, дернувшихся к нему, жестом же велела им успокоиться. Она ощутила привычное хладнокровие, как всегда в чрезвычайных обстоятельствах, и ее поразила неуместность собственного спокойствия.

– Пусть побудет со мной, – сказала Хема. – Доверьтесь мне. Я доктор.

– Мы знаем, – пробормотал отец.

Они втиснулись на лавку рядом с ней. Ребенок не плакал, только похныкивал. Лицо у него было белое от шока, щекой он вжался в грудь Хемы.

Доверьтесь мне. Я доктор. Вот и мои последние слова, с иронией подумала Хемлата.

В иллюминатор она видела белые гребешки волн, они становились все ближе и все меньше напоминали кружева на синей материи. Она всегда считала, что на поиски смысла жизни ей отведены долгие годы. А теперь оказалось, что в запасе у нее всего несколько секунд, и понимание этого принесло с собой прозрение.

Прижимая к себе мальчика, она осознала: трагедия смерти только в том, что осталось невыполненным. И как столь очевидная мысль пряталась от нее все эти годы? *Пусть твоя*

жизнь воплотится в нечто прекрасное. Не ради ли этой максимы живет сестра Мэри Джозеф Прейз? А затем Хема подумала, что вот она приняла бесчисленное множество детей, отвергла замужество, уготованное для нее родителями, никогда не горела желанием родить самой, но если бы она завела ребенка, то обманула бы смерть. Ребенок стал бы ногой, просунутой в щель и не позволившей двери захлопнуться навеки, и вы проскользнули бы обратно, пусть и перевоплотившись в следующей жизни в собаку, мышь или блоху. А если существует воскрешение, как веруют матушка-распорядительница и сестра Мэри Джозеф Прейз, то у ребенка будет шанс увидеть воскресших родителей. При условии, конечно, что не погибнет с ними в авиакатастрофе.

Пусть твоя жизнь воплотится в нечто прекрасное... Например, в такого вот хнычущего малыша с блестящими глазами, длинными ресницами, большой головой и попахивающими псиной взъерошенными волосами.

На лицах попутчиков был написан тот же страх, что сковал ее изнутри. И лишь молодой армянин все качал головой и улыбался ей, как бы говоря: «Это не то, что ты думаешь».

Вот болван, подумала Хема.

Пожилой армянин – наверное, отец юноши – бесстрастно смотрел прямо перед собой, словно ему было все равно, что с ними случится. Хема удивилась, что обращает внимание на такие пустяки, вместо того чтобы сжаться в ожидании удара.

Море стремительно надвигалось, и Хема вдруг вспомнила Гхоша. Ее захлестнула волна неведомой прежде нежности, словно это *он* должен был вот-вот умереть в авиакатастрофе, завершив свои захватывающие приключения в медицине, покончив с беззаботными шутками и безвозвратно упустив шанс осуществить мечту и жениться на Хеме.

Глава четвертая. Чему не место в организме

– Ваш пациент, доктор Стоун, – повторила матушка-распорядительница, поднимаясь с табурета, стоящего между ног сестры Мэри Джозеф Прейз.

Глянув доктору в лицо, матушка испугалась, что сейчас он швырнет чем-нибудь.

Такое уже с ним случалось, правда, не в присутствии матушки. Сестре Мэри Джозеф Прейз, пожалуй, ни разу не довелось подать ему не тот инструмент, но порой тугой зажим не хотел раскрываться или кончики биполярных ножниц не резали. Инструменты тогда летели прямо в цель – в некую точку на стене Третьей операционной чуть выше выключателя, что рядом со стеклянным шкафом.

Близко к сердцу это принимала одна сестра Мэри Джозеф Прейз, хотя она лично проверяла каждый инструмент, прежде чем заложить в автоклав. Матушка же считала, что пусть себе швыряется.

– Подавайте ему время от времени зажим, который не держит, – говаривала она. – А то он будет сдерживаться, пока пар из ушей не повалит, и вот тогда-то последует настоящий взрыв.

На шпукатурке над выключателем виднелись многочисленные ямки, от которых лучиками разбегались трещины (ну точно следы от взрыва или обстрела). Предмет попадал в стену в короткий промежуток между словами НИКУДА и НЕ ГОДИТСЯ! А однажды Стоун наорал на сестру Асквал, анестезиолога, что доза кураре явно недостаточна и что, пока он копался в брюшной полости, мышцы живота сократились и сжали ему руки словно тисками. Не один пациент в ужасе пробуждался от наркоза под вопль Стоуна:

– Не можете как следует усыпить, так дайте мне мотыгу!

Но сейчас, когда губы у сестры Мэри Джозеф Прейз были пепельно-серые, дыхание поверхностное, глаза смотрели в никуда, кровотечение не останавливалось, да тут еще матушка передала бразды правления ему, Стоун молчал. Его охватила беспомощность вроде той, которую, наверное, испытывают родственники больного, и это чувство оказалось крайне неприятным. Губы у Стоуна позорно затряслись. Но хуже всего был охвативший его ужас и полный паралич мысли.

В конце концов он только и смог выдать дрожащим голосом:

– Где Хемлата? Когда она вернется? Она нужна нам!

И этим продемонстрировал нетипичное для себя смирение.

Тыльной стороной ладони Стоун вытер глаза и, вместо того чтобы сесть на предложенный табурет, попятился, шагнул к стене, на которой виднелись следы его несдержанности, и стукнулся об нее своей монументальной, словно у горного козла, головой. Ноги его явно не держали, и он ухватился за стеклянный шкаф. Дабы не искушать Господа и не накликать несчастья, Матушка сочла нужным пробормотать непременно мантру:

– Никуда не годится!

Конечно же, Стоун мог выполнить кесарево сечение, и все же, как ни странно это для тропического хирурга, именно эту операцию он до того никогда не проводил. «Увидел, сделал, освоил» – так называлась глава в его книге *«Практикующий хирург. Краткие очерки тропической хирургии»*. Вот только читатели не догадывались, да и сам я узнал об этом многие годы спустя, что все, так или иначе связанное с гинекологией (не говоря уже об

акушерстве), вызывало у него отвращение. Причины гнездились в событиях последнего курса медицинского института, когда он, неслыханное дело, закупил себе персонального покойника, чтобы повторить анатомию, уже пройденную на первом курсе на трупах, так сказать, общего пользования. Типичный образчик такого мертвеца в эдинбургских анатомических театрах представлял какой-нибудь мужчина преклонных лет с увядшими мускулами и сухожилиями, поступивший из больницы для бедных. Вместе со Стоуном на нем проводили занятия еще пятеро студентов. А вот с покупкой последнего трупа ему повезло: упитанная женщина средних лет (этот типаж он невольно связывал с фабрикой линолеума в Файфе). Вскрытие руки, произведенное Стоуном, получилось до того изящным (на среднем пальце он обнажил только сухожильное влагалище, а на безымянном пошел дальше и вскрыл *flexor sublimis*, представший перед зрителем наглядно, словно тросы подвесного моста, между которыми протянулся *profundus*), что профессор анатомии сохранил эту руку для демонстрации первокурсникам. Несколько недель Томас Стоун в поте лица трудился над покойницей и провел с ней куда больше времени, чем с любой другой женщиной, за исключением матери. Он вполне освоил тонкости анатомии, которые можно было почерпнуть только в близком общении. С одной стороны он вскрыл ей щеку до уха, пришив лоскут наизнанку, чтобы продемонстрировать околоушную слюнную железу и проходящий сквозь нее гусиной лапой лицевой нерв (отсюда и название *pes anserinus*). С другой стороны лица он снял весь жир, обнажив мириады мимических мускулов, чьи сокращения передавали и радость, и грусть, и все промежуточные эмоции. Он не воспринимал эту женщину как личность, она была для него не более чем учебным пособием. Каждый вечер он укладывал на место мускулы, потом кожные лоскуты, потом прикрывал труп пропитанной формалином тканью. Порой, когда он заворачивал покойницу в клеенку и подтыкал края, ему представлялось, как мать укладывает его в кровать, и он особо остро чувствовал свое одиночество.

В тот день, когда Стоун удалил кишку, чтобы добраться до аорты и почек, его глазам предстала матка, и вовсе не в виде сморщенного мешочка, еле заметного в глубине таза. Она прямо-таки выпирала через верхний край. Через несколько дней он шаг за шагом занялся вскрытием органов таза по Каннингхему. Учебник велел произвести вертикальный разрез передней части матки, и ее содержимое явит себя любознательному хирургу. Стоун последовал указаниям, и наружу вывалился зародыш, голова не больше виноградины, глаза плотно закрыты, конечности прижаты к тельцу, будто у насекомого. Плод болтался на пуповине, словно некий непристойный талисман на поясе у охотника за головами. Почерневшая шейка матки была изъедена инфекцией или гангреной. Последствия трагедии сохранил формалин.

Стоун едва успел добежать до раковины, как его вырвало. Ему мерещилось предательство, казалось, за ним кто-то шпионил. А он-то думал, они с ней одни. Охота продолжать анатомические штудии у него пропала. Он не мог смотреть на нее, не мог уложить все на место, не мог прикрыть тело. Наутро он попросил озадаченного санитаря забрать труп, несмотря на то что вскрытие органов таза не было закончено, а нижние конечности и вовсе не тронуты. Но Томасу Стоуну было уже все равно.

В госпитале Миссии благодаря Хеме Стоуну никогда не приходилось вторгаться в область женских репродуктивных органов. Это поле битвы он без боя уступил ей (хотя уступать что-либо без боя было для него совершенно нехарактерно).

За пределами операционной они с Хемлатой были добрыми товарищами. В конце

концов, в Миссии было всего три врача: Хема, Стоун и Гхош, и вышло бы неловко, если бы они враждовали. Но в Третьей операционной Хема и Стоун умудрялись бесить друг друга. Точность и осторожность – вот был стиль Хемы. Матушка считала ее живым примером того, почему больше женщин должно прийти в хирургию. Порой матушке казалось, что Хемлата сначала выслушивает пациента, а *потом* думает, вместо того чтобы совмещать оба процесса. В качестве хирурга Хема исповедовала принцип «семь раз отмерь, один отрежь», тогда как другие считали, что семь раз – это чересчур. Она никогда не покидала операционной, не убедившись, что пациент очнулся от анестезии. Ее операционное поле было чистым и аккуратным, как на занятиях по анатомии, все уязвимые структуры четко определены, все меры безопасности предприняты, а кровотечение находилось под тщательным контролем. По мнению матушки, у Хемы все было статично, но живо, как на картинах Тициана или Да Винчи.

– Откуда хирургу знать, где он находится в данный момент, – любила повторять Хема, – если он не в курсе, где только что был?

По мнению Стоуна, важнее всего было не травмировать лишней раз ткань, у него не было времени для того, чтобы придать операционному полю эстетичный вид.

– Хема, если хочешь, чтобы рана была красивой, вскрывай трупы, – как-то сказал он ей.

– Стоун, если ты без ума от кровищи, подайся в мясники, – парировала та.

Опыт и натренированность Стоуна были столь велики, что его девять пальцев легко ориентировались в кровавом месиве, находя не видимые никому другому зацепки, движения были скупыми и точными, а результаты – неизменно превосходными.

В тех редких случаях, когда женщина поступала с проникающим ранением от рогов быка в области таза и с еще покрытыми грязью полей ногами или девушку из бара привозили с ножевым или пулевым ранением матки, Хемлата и Стоун трудились бок о бок и производили лапоротомию *a deux*, шипя друг на друга, стучаясь головами и порой обдирая друг другу костяшки пальцев ручками зажимов. Матушка уверяла, что записывает в журнале, кто именно из хирургов стоял при этом справа, и следит, чтобы очередность соблюдалась. Пока Хемлата без спешки вскрывала матку или возилась с разрывом мочевого пузыря, Стоун фальшиво насвистывал *God Save the Queen*^[23], чем выводил Хему из себя. Если первым за работу брался Стоун, Хемлата заводила разговор о знаменитых хирургах прошлого – Купере, Хальстеде, Кушинге – и о том, с каким недостойным пренебрежением современные тропические хирурги относятся к их бесценному наследию.

К прославлению хирургов и их операций Стоун точно относился скептически.

– Хирургия – это всего-навсего хирургия, – повторял он, и нейрохирург для него был ничуть не выше ортопеда.

«Хорошему хирургу нужна отвага, для которой необходимая предпосылка – пара хороших яиц», – написал он в своей книге, прекрасно зная, что ни один редактор в Англии этого не пропустит. Зато с каким удовольствием Томас увидел эти слова написанными на бумаге. Для стиля Стоуна были характерны словоохотливость, задиристость и неистовость, что никак не проявлялись в обычной его жизни.

– Отвага? Что это ты такое написал про отвагу? – осведомилась Хема. – *Своей* жизнью ты, что ли, рискуешь?

Чисто технически Стоун вполне мог выполнить кесарево сечение. Но в этот роковой день сама мысль о том, чтобы вонзить скальпель в сестру Мэри Джозеф Прейз – его

ассистентку, наперсницу, машинистку, музу, наконец, женщину, которую он, как оказалось, любил, – ввергала его в ужас. При столь тяжелом ее состоянии любое его действие могло стать последней каплей. С посторонним человеком он бы, пожалуй, отважился на кесарево сечение.

«Если доктор лечит себя самого, то пациент у него – дурак» – эту максиму он знал очень хорошо. Ну а как тогда назвать врача, что выполняет незнакомую операцию на любимой? Имеются мудрые афоризмы на сей счет?

После публикации книги Стоун неоднократно цитировал ее, будто напечатанные слова имели большее право на существование, чем не увековеченные на бумаге мысли.

Если доктор лечит себя самого, то пациент у него – дурак, но бывают обстоятельства, когда ему неоткуда ждать помощи...

Он описал в книге, как сам себе провел ампутацию под местной анестезией, как при поддержке сестры Мэри Джозеф Прейз произвел разрез, сделал то, что положено, левой рукой, тогда как сестра Мэри Джозеф Прейз замещала правую. И, глядя, как она режет кость, он понял, что она способна на куда большее, чем работа ассистентки. Именно история об ампутации – вкупе с фотографией на обороте титульного листа с растопыренными девятью пальцами – принесла книге такой успех. И что удивительно, особый успех работы по тропической хирургии случился в странах, далеких от тропиков. Наверное, причиной тому послужили ее язвительный тон, едкость и резкий и ничуть не преднамеренный юмор. Стоун исходил из своего опыта или из бережной трактовки опыта других. Читатели воспринимали его революционером, занявшимся вместо земельной реформы операциями на бедных. Студенты писали ему восхищенные письма и обижались, если добросовестный ответ (написанный, разумеется, сестрой Мэри Джозеф Прейз) не соответствовал их напыщенно-исповедальному тону.

Иллюстрации в книге (художник – сестра Мэри Джозеф Прейз) были простенькими, схематичными, без соблюдения пропорций или законов перспективы, однако четкими и ясными. Книгу перевели на португальский, испанский и французский.

Смелые операции, выполненные в африканской глуши – такой подзаголовок вынес издатель на суперобложку. Воображению читателя сразу представлялся доктор Стоун: в палатке, при свете керосиновой лампы, что держит в руках готтентот, под топот слонов он лихо отсекает себе больные части тела, не забывая цитировать Цицерона, и в явном противоречии с клятвой Гиппократа: «Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». Ни читатель, ни сам Стоун не понимали, что в ампутации пальца самому себе гордыни было не меньше, чем героизма.

– Ваш пациент, доктор Стоун, – в четвертый раз проговорила матушка.

Стоун опустился на табурет между ног сестры Мэри Джозеф Прейз. Эта точка не была для него привычной. С мужчинами такое положение приходилось занимать разве что при операции водянки мошонки или при дренировании ректальных абсцессов, перевязке и удалении геморроидальных узлов или *fistula-in-ano* – у обоих полов. Но он крайне редко оперировал сидя.

Неловким движением Стоун раздвинул половые губы, тут же хлынула кровь. Светя себе передвижной лампой, изогнувшись, он заглянул в родовые пути.

Попытался вспомнить «правило цитрусовых», затверженное в студенческие годы. Как

оно звучало? Лайм, лимон, апельсин и грейпфрут соответствуют 4-, 6-, 8- и 10-сантиметровому расширению матки? Или 2, 4, 6 и 8? А виноградины и сливы в расчет не брались?

Увиденное заставило его побледнеть: расширение было явно больше грейпфрута, скорее уж размером с дыню. И на дне кровавого колодца виднелась голова младенца, свет лампы отражался от его мокрых черных волос. Ткани вокруг головы были расплющены.

В это мгновение Стоун словно пробудился ото сна.

Никакой связи между собой и ребенком он не видел. Но эта мокрая голова вывела Стоуна из себя. Ярость вытеснила страх, а у ярости имелась своя извращенная логика. Да как этот наглец смеет подвергать жизнь Мэри опасности! Словно крот, прорыл себе нору в теле Мэри, и надо срочно вытащить зверька наружу и облегчить страдания женщины. Никакой нежности к крошечному существу Стоун не испытал, одно отвращение. И это навело его на мысль.

«Найти врага и победить в перестрелке», – частенько повторял он.

И он нашел врага.

– Газам, жидкости, экскрементам, инородным телам и доношенным младенцам не место в организме, – пробормотал он фразу из своей книги. И принял чудовищное решение. Куда лучше проделать отверстие в голове крота и вытащить его – он уже не думал о нем как о ребенке, – чем пускаться на эксперимент с кесаревым сечением, операцией почти ему незнакомой, которая к тому же может еще и убить Мэри. Ведь враг – это скорее инородное тело, что-то вроде раковой опухоли, чем плод. Наверняка это существо мертво. Да, он проделает в этом черепе дырку, опорожнит его, раздавит, как камень в мочевом пузыре, и вытащит эту сдувшуюся головку, а с ней и все то, что застряло в тазу. Если надо, он сокрушит ножницами ключицы, разрежет скальпелем ребра, вырвет, выскребет, размозжит, вычистит до последней косточки эту преграду, заткнувшую проход, и тем самым остановит кровотечение и спасет Мэри. Да, да! Все ненужное – вон из организма.

В границах его иррациональной логики это было разумное решение. *Из зла получить добро*, как сказала бы сестра Мэри Джозеф Прейз.

В глазах потрясенной матушки мужчина, сидящий на табурете, уже ничем не напоминал их Томаса Стоуна, человека сильного, хоть и застенчивого, высококвалифицированного хирурга, члена Королевского колледжа хирургов и автора знаменитой книги. Нет, это был какой-то расхристаный, взбудораженный прощельга, неизвестно как пробравшийся в операционную.

Стоун пристроил «Оперативное акушерство» Манро-Керра на вздувшийся живот Мэри на манер поваренной книги и несколько приободрился.

– Проклятие, Хемлата, когда же ты, черт тебя побери, вернешься? – пробормотал он сквозь зубы.

Целых два богохульства, отметила про себя матушка и пощупала себе пульс, ибо, несмотря на всю свою веру в Бога, очень тревожилась по поводу перебоев в сердцебиении, которые стали вдруг проявляться у нее в последний год. Вот и сейчас ритм сердца резко замедлился, и у нее тут же закружилась голова.

Необычные инструменты, которые матушка по просьбе Стоуна извлекла из старых запасов, как-то не ложились ему в руку.

– Где, к чертям собачьим, Гхош? – закричал Стоун, покольку Гхош часто ассистировал Хеме при проведении аборт и перевязки маточных труб и, будучи мастером на все руки,

располагал куда большим опытом по части женских детородных органов.

Матушка еще раз отправила гонца в бунгало Гхоша, не столько надеясь, что тот вернулся, сколько стремясь успокоить Стоуна. Пожалуй, лучше бы она отправила девушку с расспросами в бар «Голубой Нил» или его окрестности, ведь даже будучи в подпитии, Гхош наверняка дал бы Стоуну дельный совет, охарактеризовал бы его решение как неверное, даже идиотское, а его логику – как противоречивую. Матушка чувствовала, что в этой беременности есть часть ее вины: не уделила должного внимания. Правда, наблюдая такое обильное кровотечение, она была уверена, что ребенок давно мертв. Если бы матушка на секундочку поверила, что он жив (о наличии близнецов она и не подозревала), она бы вмешалась.

Стоун вертел туда-сюда головой, сравнивая картинки в книге Манро-Керра с оригиналом: ножницы Смелли, краниокласт Брауна^[24], кефалотриб Жардена^[25]. Инструменты у него в руках были далекими родственниками тем, что описывались в книге, но явно предназначались для той же зловещей цели.

Двумя зажимами Жакоба Стоун ухватил моего брата за кожу головы.

– Попался, крот! Будь ты проклят за то, что принес Мэри такие мучения! – пробормотал он и ножницами разрезал кожу между зажимами, тем самым дав нежеланному существу первое представление о боли.

Следующий шаг – пристроить на черепе крота кефалотриб – или декапитатор – инструмент, предназначенный для раздавливания головки плода. Это странное средневековое орудие состоит из трех отдельных частей: копья, призванного пробить череп и проникнуть в мозг, и двух похожих на щипцы конструкций, зажимающих череп снаружи. Когда инструмент наложен, три его хвостовика смыкаются и образуют что-то вроде ручки с удобными выемками для пальцев. Раздавливай и тяни – рука не соскочит.

В операционной было прохладно, тем не менее пот заливал ему глаза и смачивал маску.

Он попытался надавить на ручку и всадить копьё в череп.

(Ребенок, мой брат Шива, после восьми месяцев пребывания во мраке, еще не родившись, почувствовал резкую боль и завопил в утробе. Я подтолкнул его, и копьё соскользнуло.)

Стоун решил, что лучше ему сперва ухватить головку щипцами, вытащить и только *потом* всадить копьё. В ограниченном пространстве руки его не слушались. Матушка содрогнулась при мысли о том, какую травму он может нанести сестре Мэри Джозеф Прейз и ребенку. Стоун наложил щипцы за уши и принялся тянуть, пока головка не оказалась, по его мнению, в пределах досягаемости.

Под матушкой подгибались ноги. «Обязанность операционной сестры – оказывать всяческое содействие доктору, предугадывать, что ему нужно». Не она ли сама не уставала повторять это своим стажеркам? Но все шло не так, как надо, совсем не так, и она понятия не имела, как повернуть ход событий. Она горько жалела, что достала эти инструменты. Научи дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Человеколюбивые акушеры изобрели эти инструменты, чтобы их применяли, когда в отчаянном положении окажется мать, а не врач. А тут инструменты взяли верх над Стоуном и решали за него, что делать. Матушка знала: ничего хорошего из этого не выйдет.

Глава пятая. Последние мгновения

В последнюю секунду, когда она вся сжалась в ожидании удара о воду, океан внезапно превратился в сушу, поросшую лесом.

Не успела доктор Хемлата хорошенько это осознать, как самолет коснулся нагретого солнцем асфальта, визгнув колесами, качнул хвостом и, сбавив скорость, покатился по взлетно-посадочной полосе.

В улыбках пассажиров облегчение мешалось со смущением, ибо даже те из них, кто не верил ни в Бога ни в черта, только что молились о чуде.

Самолет остановился, но пилот продолжал пререкаться с диспетчером и даже закурил, вопреки грозной надписи НЕ КУРИТЬ, загоревшейся сразу после посадки.

Мальчик все хныкал, и Хема с неожиданной для самой себя ловкостью принялась его укачивать.

– Мы наложим крошечную, *крошечную* повязочку на ногу, и все пройдет. Ладно?

Молодой армянин где-то нашел бамбуковую палку, и они соорудили мальчику шину.

Когда рев двигателя стих, тишина заложила уши. Самодовольно улыбаясь, пилот оглядел пассажиров, словно желая убедиться, что они хорошо перенесли посадку, и раздумчиво изрек:

– Мы сели здесь, чтобы забрать кое-какой багаж и Очень Важных Персон. Это Джибути. – Он показал в улыбке плохие зубы. – Мне не разрешали посадку, только в экстренном случае. Так что у меня вышел из строя мотор. – И он скромно развел руками, словно ожидая аплодисментов.

Хемлата даже испугалась, насколько резко в наступившей тишине прозвучал ее собственный голос:

– Багаж? Ты, гнусный торгаш! За кого нас держишь? За скотину? Ты просто взял и вырубил двигатель, изобразил катастрофу, чтобы сесть в Джибути? Хоть бы предупредил!

Наверное, она должна быть благодарна ему за то, что осталась цела и невредима, но в ее иерархии эмоций гнев всегда главенствовал.

– Гнусный? – Летчик налился кровью. – Гнусный?! – Он выбрался из кабины, торчащие из-под шорт белые костлявые колени угрожающе топорщились.

Он остановился перед Хемой. Судя по всему, слово «гнусный» задело его значительно больше, чем «торгаш». Хотя презрение к женщине из Индии взяло верх надо гневом, он занес руку.

– Если тебе не нравится, наглая ты баба, я тебя сейчас высажу.

Потом он будет уверять, что просто жестикулировал, у него, мол, и в мыслях не было ударить ее. Боже сохрани, чтобы француз, дамский угодник, бил женщину.

Но эти слова прозвучат слишком поздно. Хемлата так и вскипела от возмущения, и ее руки, казалось, действовали сами по себе, помимо ее воли, она словно со стороны смотрела на саму себя, совершенную незнакомку. А эта незнакомка решительно вскочила на ноги. Ростом она была никак не меньше пилота. На левой щеке у него синела сосудистая звездочка, она ее прекрасно видела. Хема сдвинула очки на лоб и посмотрела летчику в глаза.

Тот увидел, какая она красавица, и сник. Что он наделал! Ему бы выпить с ней сегодня вечером в отеле «Гион», проявить себя галантным кавалером, а не... Только сейчас пилот

заметил, что вокруг хнычущего мальчика собралась толпа. Только сейчас он обратил внимание, что отец ребенка в ярости, а кое у кого из пассажиров сжаты кулаки.

«Ну и тип, – подумала Хема. – Звездчатые гемангиомы по всей коже. Глаза желтые. Несомненно, грудные железы увеличены, волосы под мышками не растут, яички усохли до размеров ореха – и все потому, что печень больше не реагирует на эстроген, вырабатываемый мужским организмом. Да еще этот постоянный запах можжевельных ягод изо рта... Это не цирроз, нет, это подпитываемое джином неприятие реалий постколониальной Африки. Если в Индии таких, как ты, еще опасаются, то только по старой памяти. Ну а в эфиопском самолете ни о каком почтении и речи быть не может».

Ярость в ней переливалась через край, направленная не только на него, но и на *всех* мужчин, на тех, кто в Правительственном госпитале всячески помыкал ею, ни в грош не ставил, презирал за то, что она из касты браминов, не спросясь, менял график и гонял туда-сюда, даже не сказав «спасибо».

То, что она, нарушая запреты, стоит почти вплотную к нему, забавляло пилота. Но рука его была все еще поднята, и он, будто только заметив это, сделал неловкое движение – не для того, чтобы ударить женщину, как он впоследствии оправдывался, а всего-навсего чтобы убедиться: это его собственная конечность и она его слушается.

Занесенная рука сама по себе представляет собой оскорбление, а когда она еще и дернулась, Хема ответила так, что потом долго еще краснела при одном воспоминании.

Пальцы Хемлаты с необыкновенной легкостью (она сама удивилась) скользнули пилоту в шорты и ухватили за яйца, большой и указательный пальцы сжали семенные канатики. Много позже она придет к мнению, что на ее подсознание оказали влияние местные реалии – *шифта* и прочие уголовники в Восточной Африке имели обыкновение отсекал жертве яйца. *С волками жить...*

Глаза у нее горели будто у мученицы. Пот превратил *pottu* у нее на лбу из точки в восклицательный знак, залил лицо. По случаю жары на Хеме было хлопчатобумажное сари, садясь, она подвернула его до колен – прочь скромность! – и теперь, когда она вскочила на ноги, очертания ее бедер вырисовывались четко. Она сжала пальцы – пусть француз напугается так же, как она при мнимом падении самолета в море.

– Слушай, лапа... – прошипела она (решив, что имеет дело с тестикулярной атрофией, и пытаясь вспомнить подробности: *tunica albuginea*, и *tunica что-то там еще*, и, разумеется, *vas deferens*, и еще эта морщинистая штуковина сзади, как она там называлась... *Epididymis!*)

Пилот сгорбился, лицо его побелело, он весь сдулся, точно из него выдернули затычку.

– Твой сифилис пока не очень запущенный, ведь ты чувствуешь боль в яйцах, а?

Рука его медленно опустилась и аккуратно, почти нежно легла ей на предплечье, умоляя не давить сильно. В салоне стало тихо, как в церкви.

– Ты слушаешь? – спросила она, подумав, что выбрала все-таки не лучший метод познания мужской анатомии. – Мы с тобой на равных, так? Моя жизнь в твоих руках, а твои фамильные сокровища – в моих. Ты считаешь, что вправе так пугать людей? Из-за твоих штучек мальчик сломал ногу.

Она мотнула головой в сторону пассажиров, не сводя глаз с лица францулика.

– У кого-нибудь есть нож поострее? Или бритва?

Послышался легкий шорох, будто все мужское население самолета невольно подтянуло мошонки, пытаясь получше укрыть свое хозяйство.

– Нам не давали посадки... Мне пришлось... – прохрипел пилот.

– Достань кошелек и заплати мальчику, – велела Хема, ибо не верила в долговые расписки.

Пока летчик тряс банкнотами, молодой армянин выхватил у него бумажник и передал отцу мальчика.

Один из йеменцев вдруг обрел дар речи и разразился ругательствами, размахивая пальцами перед носом у пилота.

– А теперь верни деньги за авиабилеты мальчику и его родителям, – распорядилась Хема. – И давай-ка, взлетай поживее, а то не только станешь евнухом, но я лично попрошу императора, чтобы тебя не взяли даже в погонщики верблюдов, а не то что в летуны.

Грузовой люк открылся, послышались пронзительные голоса кули, столпившихся вокруг самолета.

Француз, выпучив глаза, беззвучно кивнул. Франция колонизировала Джибути, часть Сомали, а в Индии так даже постаралась перехитрить англичан, захватив плацдарм в Пондишери. Но в этот душный день некая смуглянка, в душе которой произошли необратимые перемены, заручилась поддержкой малайяли, греков, армян и йеменцев и показала, что свобода ей дана не напрасно.

– Разве можно оставаться в здравом уме в такую жару? – хихикнула Хемлата, отпуская летчика и покидая самолет, чтобы омыть руки.

Глава шестая. Моя Абиссиния

Хема не отрываясь смотрела на землю, стараясь уловить момент, когда бурую пустыню и кустарники сменит пологий склон, предвестник поросшего буйной растительностью горного плато Эфиопии.

«Да, – подумала она. – Теперь это мой дом. Моя Абиссиния». На ее вкус, звучало это название романтичнее, чем Эфиопия.

Страна, в сущности, представляла собой горный массив, вознесшийся над тремя пустынями: Сомали, Данакилом и Суданом. Даже сейчас Хема чувствовала себя самым Дэвидом Ливингстоном^[26] или, на худой конец, кем-то вроде Ивлина Во, – иными словами, настоящим исследователем этой древней цивилизации, оплота христианства, который до вторжения Муссолини в тридцать пятом никто не смог колонизировать. Ивлин Во в своих репортажах в «Лондон Таймс» и в книге осуждал его величество императора Хайле Селассие за бегство от Муссолини. У Хемы создалось впечатление, что Во не по душе древность африканского царствующего дома, ведущего свою родословную от царицы Савской и царя Соломона. По сравнению с ним Виндзоры или Романовы были просто выскочками.

Новые пассажиры, поднявшиеся на борт самолета, были из Сомали и из Джибути (по мнению Хемы, их разделяла только линия на карте, проведенная западным картографом, больше никакой разницы не существовало). Они жевали *кат*^[27], курили сигареты «555» и, несмотря на скорбь в глазах, пребывали в прекрасном настроении. В самолет, ставший теперь для Хемы чуть ли не родным домом, погрузили целые тюки *ката*. Это было очень странно, обычно *кат* путешествовал в прямо противоположном направлении: выращивали его в Эфиопии, неподалеку от Харрара, на поездах отправляли в Джибути, а затем самолетами в Аден. Именно этим высокодоходным перевозкам были обязаны своим рождением «Эфиопские Авиалинии». Хема краем уха услышала, что с автомобильным и железнодорожным транспортом возникли проблемы и для удовлетворения резко возросшего спроса на *кат* в связи с некой свадьбой пришлось прибегнуть к реэкспорту и вынужденной посадке. *Кат* следовало жевать буквально на следующий день после сбора урожая, иначе он терял силу. Хема представила себе, как сомалийские, йеменские и суданские купцы в своих крошечных лавочках, заполонивших чуть ли не каждый переулок, да и владельцы магазинов посolidнее на Меркато в Аддис-Абебе покрикивают на своих приказчиков и поглядывают на часы в ожидании, когда прибудет груз. Она представила себе свадебных гостей: с пересохшими ртами они пытаются сплюнуть и сердито бурчат, какая все-таки невеста страхолюдная с этой огромной родинкой на шее и наверняка такая же скупая, как и ее папаша.

Хема мысленно рассказала матери, что учинила с пилотом, и рассмеялась. Сидевший напротив сомалиец, один из вновь прибывших пассажиров, разулыбался в ответ.

Те три недели, что Хема провела в Мадрасе, стояла адски душная жара, но по сравнению с Аденом это был рай. Дом ее родителей по соседству с Милапором^[28] (целых три комнаты, и почти у самого храма) в детстве казался ей просторным, но сейчас теснота прямо-таки душила ее. Хотя Хема регулярно переводила родителям деньги, в доме ничего не менялось. Краска в комнатах облезала, образуя абстрактные узоры, темная кухня еще больше почернела от дыма и походила на фотолабораторию. Узкая улочка, где автомобиль был редким гостем, превратилась в шумную магистраль, а давно не беленый забор своим цветом

стал напоминать землю, на которой стоял. Только саду время пошло на пользу, дом спрятался за зарослями бугенвиллеи. Два манговых дерева, густо обвешанные плодами, вымахали неимоверно. Сорт одного из них назывался «Альфонсо», а второе дерево было гибридом, мякоть его казалась немного резиновой на зуб, но потом таяла во рту, словно мороженое.

Единственным украшением гостиной был календарь с рекламой сухого молока «Глаксо». Сверх меры упитанный кавказский ребенок тарасил с него голубые глаза. Лозунг провозглашал: «Дети Глаксо пышут здоровьем». При взгляде на эту картинку любая кормящая мать должна была почувствовать угрызения совести: она-то, оказывается, держит своего младенца впроголодь. Девочкой Хема не обращала на ребенка Глаксо никакого внимания, сейчас календарь мозолил глаза и бесил. Хема сняла календарь со стены, но оставшийся светлый прямоугольник еще больше притягивал взгляды. Когда Хема уедет, другой ребенок Глаксо, несомненно, займет место прежнего.

За время своего короткого отпуска Хема покрасила дом и поставила потолочные вентиляторы. Сатиамурти, отец Велу, сущего наказания ее отроческих годов, смотрел из-за забора, как рабочие вмуровывают в цемент стульчак западного образца над башмаками традиционного индийского сортира.

– Это не для меня, старый ты болван, – сказала Хема по-английски. – У матери больные ноги.

А Сатиамурти ответил единственной известной ему английской фразой:

– К черту Китай, поцелуй меня, Эйзенхауэр! – Улыбнулся и помахал рукой, и Хема помахала ему в ответ.

У сомалийца в голубой синтетической рубашке, сидевшего напротив, на запястье болтались золотые часы. Пальцы ног, торчащие из сандалий, сверкали не хуже полированного эбенового дерева. Его лицо показалось Хеме знакомым. Сомалиец улыбнулся, выбросил руку, растопырил пальцы, как на аукционе, и проревел:

– Три ребенка, два захода, одна ночь.

Она вспомнила. Его звали Адид.

– Тебя по-прежнему хватает на двоих?

От его сверкающей белозубой улыбки в салоне сделалось светлее. Он сказал что-то своим товарищам. Те ухмыльнулись и глубокомысленно закивали. Какие у них крепкие зубы, подумала Хема. Кожа у него была до того черная, что отливала лиловым. А вот директриса ее школы, миссис Худ, напротив, была такая белокожая, что ученицы верили: дотронешься до нее – и пальцы побелеют. От прикосновения к Адиду пальцы бы точно почернели. Его царственные манеры, неторопливая смена выражений на лице, игра губ и бровей заронили в голову Хемы безумную мысль: она была бы не прочь пососать его указательный палец.

В последний раз она видела Адида в травмпункте Миссии, он невозмутимо стоял в своем богатом головном уборе и просторном одеянии, а его беременная жена корчилась в муках. Когда Хемлата слой за слоем сняла с нее одежду, перед ней предстала бледная, худосочная девчонка. Артериальное давление у нее зашкаливало. Это была эклампсия^[29]. Пока Хемлата делала ей в Третьей операционной кесарево сечение, Адид исчез и вернулся со второй женой, постарше, также на сносях. Родила она прямо в запряженной лошаадьми *гари* возле ступенек поликлиники. Хемлата выскочила как раз вовремя, чтобы перерезать второй жене пуповину, а когда надавила ей на живот, то вместо последа выскочил второй ребенок – близнец. Хема в шутку предложила ему украсить грудь транспарантом: ОДНА НОЧЬ, ДВА

ЗАХОДА, ТРИ РЕБЕНКА. Адид смеялся, как человек, не знающий в жизни ни забот ни хлопот.

– Да, да, – прокричал он, перекрывая рокот моторов. Рубленая речь, французский акцент, типичный для жителя Джибути выговор. – Богатство человека определяется числом детей. Ради чего же еще мы живем на этом свете, доктор?

«По этим меркам я – нищая», – подумала Хема. А вслух сказала:

– Аминь. По этой части ты, наверное, мультимиллионер.

Он с хитрым выражением показал глазами на одетую в оранжевое женщину в чадре, мелькнула ее бледная, выкрашенная хной нога. Она из Йемена, догадалась Хема. Или мусульманка из Пакистана либо Индии.

– И она тоже? – осведомилась Хема. Наверное, не будет невежливым спросить о ее национальности.

Адид энергично закивал:

– Еще целых три месяца. И еще одного ждем дома.

– Знаешь что, – Хема многозначительно посмотрела на его пах, – я попрошу доктора Гхоша сделать тебе иссечение семявыводящих протоков с большой скидкой. Этак выйдет дешевле, чем перевязывать трубы всем твоим женам.

Пара из Гуджарата сердито посмотрела на зашедшегося смехом Адида, который в восторге хлопал себя по ляжкам.

– Почему бы тебе не поместить жен в пренатальную клинику? – спросила Хема. – Смышленный человек вроде тебя не должен сидеть сложа руки и дожидаться неприятностей. Зачем им страдать?

– Я тут ни при чем. Ты же знаешь этих женщин. Они будут терпеть, пока сознания не потеряют.

«И ведь правда», – подумала Хема. Несколько лет тому назад арабка в Меркато рожала несколько дней, и муж, богатый торговец, привел доктора Бакелли, чтобы тот ее осмотрел. Но женщина, чтобы только не дать врачу-мужчине увидеть свое тело, втиснулась между стеной и дверью ванной, так что дверь было не открыть, не нанеся травмы роженице. За этой дверью она и умерла, и родственники ее одобрили.

Чтобы позлить пару из Гуджарата, Хема приняла от Адида пару листочков *ката* и сунула в рот. Раньше ей и в голову бы такое не пришло, но события нескольких последних часов многое изменили.

Поначалу листья казались горькими, но, будучи разжеванными, приобрели куда более приятный, почти сладкий вкус.

– Восхитительно, – громко сказала она, надула щеки, словно бурундук, и принялась неторопливо, раздумчиво двигать челюстями, уподобляясь тем тысячам любителей *ката*, которых она видела за свою жизнь. Даже позу она приняла соответствующую: локтем оперлась на сумочку, одну ногу задрала на сиденье, другую согнула в колене, подтянула к подбородку и наклонилась поближе к Адиду, оказавшемуся на удивление разговорчивым.

– ...и большую часть сезона дождей мы провели вдаль от Аддис-Абебы, в Авейде, вблизи Харрара.

– Я хорошо знаю Авейде, – подхватила Хема, что было неправдой.

Когда-то она выбралась туда в отпуск посмотреть крепостные стены Харрара. Авейде показался ей громадным торжищем *ката*, вот и все, что она запомнила. Дома самые незамысловатые, даже не побеленные.

– Я хорошо знаю Авейде, – повторила она, и *кат* заставил ее поверить в собственные слова. – Люди там богатые настолько, что каждый может себе купить по «мерседесу», но гроша не дадут, чтобы покрасить входную дверь. Ведь верно?

– Откуда вы знаете, доктор? – изумился Адид.

Хема улыбнулась, как бы желая сказать: я все замечаю.

В голову ей полезли всякие анатомические подробности, относящиеся к мочеполовой системе француза: срединный шов разделяет два яичка, мясистая оболочка мошонки, клетки Сертоли... Мысли прыгали с предмета на предмет.

В кабине уже не было так жарко. От предвкушения, что скоро будет дома, у Хемы стало хорошо на душе, и ей вдруг захотелось рассказать Адиду одну историю.

– Когда я училась на медика, мы таким образом проверяли способность наших пациентов ощущать висцеральные боли. Висцеральный – значит относящийся к внутренним органам. Эти боли трудно охарактеризовать и локализовать, но боль есть боль. Если сдавить яички, будет неплохая проверка, поскольку при некоторых болезнях вроде сифилиса висцеральные боли пропадают. Однажды у койки сифилитика профессор велел мне продемонстрировать, как надо проверять висцеральные боли. Мужчины в нашей группе захихикали, но я ничуть не испугалась. У больного был запущенный сифилис. Обнажаю ему яйца – пардон, семенные железы – и сдавливаю. Пациент улыбается. Ничего. Никакой боли. Сдавливаю изо всей силы. Никакой реакции. Ноль. Но один из моих сокурсников грохнулся в обморок. Адид ухмыльнулся, будто она и правда рассказала ему эту историю.

Самолет снижался, пронзая облака. Город пока прятался за густыми эвкалиптовыми лесами. Когда-то император Менелик вывез эвкалипт с Мадагаскара – не ради масла, а ради дров, нехватка каковых чуть было не заставила его покинуть столицу. Эвкалипт прижился на эфиопской почве и рос быстро – за пять лет двенадцать метров, а за двенадцать лет – все двадцать. Менелик засаживал им гектар за гектаром. Леса эти были неистребимы, легко восстанавливались при вырубках, а древесина отлично зарекомендовала себя как строительный материал.

Показались проплешины с круглыми хижинами под тростниковыми крышами и загонами для скота за колючей живой изгородью. Затем уже на границе города Хема увидела дома под рифлеными крышами, их становилось все больше, застройка уплотнялась. Мелькнул невысокий шпиль церкви, и открылся вид на сам город. Черчилль-роуд спускалась по крутому склону к Пьяцце, по ней ползло несколько автобусов и автомобилей. Центр города выглядел вполне современно, и это навело Хему на мысли об императоре Хайле Селассие. За время своего правления он ввел больше изменений, чем его предшественники за три столетия. Его портрет – крючковатый нос, тонкие губы, высокий лоб – украшал каждый дом на проносящихся под крылом самолета улицах. Отец Хемы был большим поклонником императора, потому что перед Второй мировой войной, когда Муссолини изготовился к вторжению, Хайле Селассие предупредил весь мир, какова будет цена невмешательства и чем обернется захват Италией суверенной страны вроде Эфиопии; подобное бездействие развяжет руки не только Италии, но и Германии, сказал он. «Господь и история запомнят ваше решение» – таковы были пророческие слова императора перед Лигой Наций. И обычно его изображали в виде маленького паренька, дерзнувшего схватиться с верзилкой – и проигравшего.

– Мадам, вы видите госпиталь Миссии? – спросил Адид.

– Что-то не видать, – ответила та.

Весь склон горы рядом с аэропортом полыхал оранжевым пламенем цветущего мескеля, это означало, что сезон дождей закончился. Другой склон отливало различными оттенками ржавчины – то были гофрированные крыши, прикрывающие хибары и навесы. Каждая хижина была отгорожена забором от соседа, вместе они сверху смотрелись как прихотливо извивающийся железнодорожный состав, что карабкается в гору, зачем-то раскинув в разные стороны непонятные ответвления.

Француз на бреющем полете прошел над взлетно-посадочной полосой (так что таможенный агент успел вскочить на велосипед и прогнать приблудившихся коров), сделал круг и сел.

Три ядовито-зеленых полицейских «фольксвагена» устремились к самолету, не замедлили явиться и все наличные сотрудники «Эфиопских Авиалиний». Лязгнула грузовая дверь, и торопливые руки принялись разгружать *кат*. Кипы листьев заполнили фургон, трехколесную тележку, потом настала очередь полицейских машин. Автомобили сорвались с места, взвыли сирены. Только теперь дело дошло и до выгрузки пассажиров.

Шестисоткубовый мотор бело-голубого «фиата-сейченко», которому машина была обязана своим именем, натужно тарахтел, унося вдаль Хемлату с ее «Грюндигом». Она лично проследила, чтобы большую коробку как следует закрепили в багажнике на крыше.

В Аддис-Абебе стоял чудесный солнечный день, и она забыла, что опаздывает из отпуска больше чем на два дня. Свет на такой высоте был совсем другой, чем в Мадрасе, он не сверкал, не слепил, а мягко заливал предметы. В ветерке не чувствовалось ни намека на дождь, хотя погода могла перемениться в одно мгновение. Ноздри ей щекотал древесный целебный аромат эвкалипта, совершенно непригодный для духов, но вселяющий бодрость духа. К нему примешивался запах ладана, что сгорал в печках вместе с древесным углем в каждом доме. Хема была рада, что благополучно пережила перелет, рада, что вернулась в Аддис-Абебу, и не могла понять, откуда на нее накатила волна ностальгии, томления духа, природу которого она и сама не могла определить.

Дожди закончились, и на лотках появились красные и зеленые перцы чили, лимоны и запеченная кукуруза. Мужчина, взваливший себе на плечи блеющего барана, всматривался в дорогу прямо перед собой. Женщина продавала связки эвкалиптовых листьев, на их пламени готовили *инжеру*^[30] – блины из *теффовой* муки. Чуть подальше Хема увидела, как маленькая девочка растапливает масло на огромной плоской сковороде, водруженной на три кирпича, меж которых горел огонь. Когда *инжера* была готова, ее, словно скатерть, снимали со сковороды, складывали в восьмую долю и укладывали в корзину.

Пожилая женщина в черной траурной одежде остановилась, чтобы помочь женщине помоложе закинуть за спину ребенка в заплечном мешке; мешок представлял собой часть ее же *шамы* – белого хлопчатобумажного одеяния, в которое кутались и мужчины и женщины.

Мужчина с высохшими ногами, подвязанными к груди, прыгал на руках вдоль грязной обочины, в каждой руке у него был зажат деревянный брусочек с ручкой, ими он и отталкивался. Получалось у него на удивление споро, словно буква «М» шагала по земле. Казалось, Хема и отсутствовала-то недолго, а все эти сценки уже были ей в новинку.

По дороге трусило стадо мулов, нагруженных высоченными вязанками дров, животные кротко сносили кнут, которым их непрерывно охаживал босой хозяин. Таксист затрубил

клаксоном, но дорогу ему не уступили. Пришлось ползти следом, будто еще одна скотина, изнывающая под непомерным грузом.

Их обогнал грузовик, до отказа набитый овцами. Это были овцы-счастливики, ведь их *везли* на бойню. Перед Мескелем^[31], праздником в честь обретения креста, скотину гнали в столицу целыми стадами, животные падали от изнеможения и запросто могли околоть по дороге к праздничному столу. Зато после торжеств овцы будто сквозь землю проваливались. Только торговцы шкурами бродили по улицам и переулкам, выкликая: «*Ye beg koda alle!*» (У кого найдется овечья шкурка!) Из какого-нибудь дома торговца окликнут, он поторгуется, кинет шкуру на плечо поверх уже имеющихся и опять заголосит.

Внезапно Хемлате стали попадаться на глаза дети, все эти годы она их будто не замечала. Два мальчика катили палками металлические обручи, изображая гул мотора. Едва начавший ходить малыш, весь в соплях, завистливо смотрел на них. Голова у него была выбрита, за исключением пучка волос вроде островка безопасности. Еще в первый приезд в Эфиопию Хему просветили, какая цель у такой странной прически: если Господь захочет забрать ребенка (а он столько уже взял), то ему будет за что ухватиться, чтобы переправить малыша на небеса.

Фигура матери мальчика выделялась на фоне бисерной занавески у входа в *буна-бет* – кофейню (на самом деле – бар), женщина предлагала нечто более существенное, чем кофе. Вечер преобразит ее, бар озарится неоновыми огнями, зеленым, желтым и красным, сделает предложение более привлекательным. Кофеварка за оцинкованной стойкой – наследие итальянской оккупации – определяла класс заведения. Пустые глаза женщины скользнули по машине, на мгновение остановились на Хеме (в них мелькнула злость, словно при виде конкурентки), задержались на странной коробке на крыше такси и сверкнули презрением, словно желая сказать: «Тоже мне, нашла чем удивить». Наверное, она из народа амхара, подумала Хема, ореховый оттенок кожи, высокие скулы. Красивая. Подружка Гхоша, не иначе. Из волос гребенка торчит, будто причесывалась, причесывалась, да и бросила. Ноги блестят от «Нивеи». Да она эту «Нивею», пожалуй, и внутрь принимает, чтобы цвет лица был лучше.

– Насколько я знаю, помогает, – вслух сказала Хема и поежилась.

Между новыми домами из шлакоблоков попадались некрашенные хижины, стены из прутьев и соломы обмазаны глиной. Достаточно было воткнуть в землю столб и увенчать его пустой жестяной, чтобы сказать: «Вот вам и еще *буна-бет*, пусть и без кофеварки “Экспресс” и без бутылочного пива “Сент-Джордж”. Зато мы подаем *теж*^[32] и *таллу*^[33], и во всем остальном у нас ничуть не хуже».

Древнейшая профессия мира не вызывала осуждения, даже со стороны Хемы. Она убедилась, что протестовать бесполезно. Но последствия такой терпимости были для нее очевидны: абсцессы труб и яичников, бесплодие, вызванное гонореей, выкидыши и дети с врожденным сифилисом.

На дороге Хема заметила группу белозубых, очень черных и коренастых рабочих *гураге* под присмотром бригадира-итальянца. *Гураге*, южане, пользовались заслуженной репутацией прекрасных работников, охотно берущихся за такие виды деятельности, от которых местные отказывались. Гебре, когда ему были нужны дополнительные рабочие руки, просто выходил из главных ворот Миссии и кричал: «*Гураге!*» Хотя с недавних пор это могли принять за оскорбление, и безопаснее было сменить призыв на «Кули!».

Рабочие были босиком, за исключением бригадира и еще одного человека в пластиковых чувалах не по размеру с прорезанными дырками, из которых торчали пальцы ног. По всем меркам Хема должна была бы возмутиться при виде чернокожих рабочих и белого надсмотрщика и даже удивилась, почему же это ее не взорвало; наверное, причина была в том, что оставшиеся в Эфиопии после освобождения итальянцы были все такие душки, так охотно смеялись сами над собой, что злиться на них было просто нельзя. Жизнь для итальянцев представляла собой некую интерлюдия между трапезами. А может, они нарочно демонстрировали такой подход как наиболее оправдавший себя в сложившихся обстоятельствах. Хема видела, как стоило бригадиру отвернуться, и рабочие тут же замирали. Вот так, потихоньку-полегоньку, черепашным шагом, но все-таки возводились школы, конторы, почтамт, национальный банк, сооружения, вполне гармонизировавшие с величием церкви Святой Троицы, здания Парламента и Дворца Юбилея. Представление императора об африканской столице в европейском стиле воплощалось в жизнь.

Наверное, мысли об императоре, да еще тот факт, что такси остановилось на перекрестке, где вместо торговых рядов в свое время находилась виселица, вызвали в памяти Хемы жестокую сцену.

Именно здесь в 1946 году она и Гхош (они только пару месяцев как приехали в Аддис-Абебу) угодили в толпу, запрудившую улицу. Встав тогда на подножку «фольксвагена», Хема разглядела грубо сколоченную конструкцию и три болтающиеся петли. Подъехала *Trenta Quattro* с военными номерами. В кузове находились три человека, скованных наручниками. Они были без пиджаков, но по рубашкам, обуви, брюкам можно было догадаться, что их забрали прямо с какого-то обеда.

Офицер в форме императорской лейб-гвардии прочитал что-то по бумажке и отбросил листок в сторону. Хема заворожено наблюдала, как он накинуд каждому петлю на шею, пристроив узел возле уха. Казалось, приговоренные покорились судьбе, что само по себе свидетельствовало об их чрезвычайной храбрости. Судя по выправке, высокий пожилой мужчина и двое его товарищей были военными. Высокий сказал что-то офицеру лейб-гвардии. Тот выслушал его, наклонив голову, кивнул и снял петлю. Приговоренный перегнулся через борт грузовика и протянул закованные руки рыдающей женщине. Она сняла у него с пальца кольцо и поцеловала ему руку. Приговоренный сделал шаг назад, словно актер на сцене, и поклонился офицеру. Тот отдал ему поклон и надел обратно петлю с нежностью жениха, возлагающего гирлянду цветов на шею невесты.

Хема никак не могла понять, что за картина перед ней разворачивается. Театральное представление? В отчаяние ее повергла не жестокость всего, что последовало – рев грузовика, предсмертные судороги, шеи, выгнутые под невозможными углами, руки толпы, сдирающие с мертвецов обувь, – а сознание того, что она живет в стране, где такое возможно. Разумеется, и в Мадрасе не обходилось без разного рода жестокостей, но такое равнодушие к человеческим страданиям, такая развращенность были ей в новинку.

Несколько дней Хема была больна, подумывала об отъезде из Эфиопии. «Эфиопиен Геральд» ни словечком не обмолвилась о казни, не последовало никаких комментариев со стороны правительства. Говорили, что эти люди планировали революцию и таков был ответ императора. Иначе нельзя, порядок в стране превыше всего.

Хеме на всю жизнь врезался в память образ палача, с явной неохотой выполняющего свои обязанности. Красивый мужчина, мужественное лицо не портил даже слегка

расплющенный нос. Она никак не могла забыть, с каким достоинством он поклонился приговоренному, выполнив его последнюю просьбу. Этот жест говорил о конфликте между долгом и состраданием. Если бы этот офицер не исполнил приказ, его бы, наверное, самого повесили. Хема была уверена, что он поступил против совести.

Может быть, это-то и удерживает ее в Аддис-Абебе все эти годы, подумала Хема, сосуществование бок о бок культуры и жестокости, формирование нового из первобытной грязи. Город эволюционировал на глазах, и она чувствовала себя частью этих перемен, не то, что в Мадрасе, где все словно застыло за столетия до ее рождения. Заметил ли кто-нибудь, кроме родителей, ее отъезд?

– Почему бы тебе не остаться в Индии? Так много женщин из числа бедняков безвременно умирает в Мадрасе, – несмело сказал тогда отец.

– Мне их бесплатно обслуживать у нас на дому? – парировала она. – Попробуй найди мне работу. Хоть в муниципальной больнице, хоть в Правительственной. Если я нужна моей стране, почему меня никуда не берут?

Они оба знали почему. Работу получал тот, кто был готов дать взятку. Заново переживая прощание с родителями, Хема громко вздохнула, таксист даже обернулся.

Босоногие крестьяне с чудовищными грузами на головах и запряженные лошадьми *гари*, казалось, воплощали таинственный дух древнего царства, подтверждали самые завиральные сказки Иоанна-пресвитера^[34], что писал в Средневековье о магическом христианском государстве, окруженном землями мусульман. Да, настала эра, когда в Америке пересаживают почки, и вакцина против полиомиелита добралась даже до Индии, но Хема никак не могла отделаться от ощущения, что со всеми своими знаниями, которыми ее щедро снабдил двадцатый век, она угодила в далекое прошлое. Частичкой власти Его Величество наделял *расов, дежасмачесу* и феодалов меньшего ранга, а они – вассалов и преданных слуг. Хеме льстило, что профессия врача была такой редкой, такой востребованной повсюду – от бедняцкой хижины до императорского дворца. Не востребованность ли определяет само понятие родины? Ну да, ты родился не здесь, но ты здесь нужен.

Около двух часов дня ее такси подъехало к бурым воротам Миссии, государства в государстве.

Территорию больницы окружала каменная стена, за ней прятались строения, над ней возвышались эвкалипты, а где их не было – пихты, палисандровые деревья и акации. Для устрашения грабителей поверху в стену были вмурованы битые бутылки – воровство цвело в Аддис-Абебе буйным цветом, – хотя наводящий ужас вид несколько смягчали розы. Кованые ворота, обшитые листами железа, обычно были заперты, пеших посетителей на территорию впускали через калитку. Но сейчас и ворота, и калитка были распахнуты настежь.

Дверь и ставни хижины привратника Гебре также были раскрыты, а когда машина достигла вершины холма, Хема увидела и самого привратника (по совместительству священника), он подпирал дверь сарая камнем.

Заметив такси, Гебре в своем развевающемся одеянии и огромном тюрбане, под которым его маленькое лицо казалось совсем крошечным, бросился к машине; рука привратника сжимала крест и четки. Он словно хотел отогнать такси. Гебре и вообще-то был дерганый, с резкими движениями и речью скороговоркой, но сегодня даже для него было чересчур. Казалось, он был поражен, словно и не чаял уже увидеть Хему.

– Хвала-Господу-за-то-что-вы-благополучно-добрались! Добро-пожаловать-мадам! Все-

ли-у-вас-ладно? Господь-ответил-на-наши-молитвы! – выпалил привратник на амхарском.

Она ответила поклоном на поклон, но Гебре продолжал трещать, пока Хема не окликнула его по имени. Протягивая ему банкноту в пять *быров*, Хема сказала:

– Возьми миску, ступай в бар «Царица Савская» и принеси мне *доро-вот*.

Речь шла о вкуснейшем курином красном карри, приготовленном с эфиопским перцем *бербере*. На амхарском она говорила неважно, только в настоящем времени, но слово *доровот* выучила сразу. Последние несколько ночей в Мадрасе она просто мечтала об этом блюде, – что неудивительно после многодневного вегетарианского меню. Кусочки мяса мысленно заворачивались в нежнейшую *инжеру* и с наслаждением поглощались. К тому времени как Гебре вернется, соус хорошенько пропитает *инжеру*... у Хемы потекли слюнки.

– Сию-минуту-мадам-там-отличный-повар-благослови-его-Господь...

– Скажи-ка, Гебре, почему двери и окна открыты? – Только сейчас она заметила, что его ногти и пальцы в крови, а на рукава налипли перья.

Тут-то Гебре и выдал:

– О, мадам! Об этом-то я и пытаюсь вам сказать. Ребенок застрял! Ребенок. И сестра. И ребенок!

Она не поняла. Никогда еще Гебре не представал перед ней в таком расхристанном виде. Хема улыбнулась и набралась терпения.

– Мадам! У сестры роды! Все идет не так, как надо!

– Что? Повтори! – Долго же ее не было, совсем забыла амхарский.

– Сестра, мадам! – Раздосадованный, что его не понимают, Гебре старался говорить все громче, пока не пустил петуха.

«Сестрой» в Миссии называли исключительно сестру Мэри Джозеф Прейз, ко второй монахине, матушке-распорядительнице Херст, обращались «матушка», других монахинь в наличии не было.

К ее ужасу, Гебре прохрипел сквозь рыдания:

– Нет хода! Я все перепробовал, открыл все окна и двери, разорвал курицу!

Он схватился за живот, изображая роды, и попробовал перейти на английский:

– Бэби! Бэби? Мадам, бэби?

Мысль, которую он хотел донести, была достаточно ясна, тут ошибка исключалась. Но поверить в это Хеме было трудно, на каком бы языке с ней ни говорили.

Глава седьмая. Смертный смрад

Дверь в операционную распахнулась. Стажерка взвизгнула. При виде выросшей на пороге женщины в сари – запыхалась, грудь вздымается, ноздри раздуты – матушка-распорядительница схватилась за сердце.

Все замерли. Откуда им знать, что это Хема, а не ее призрак? Женщина казалась выше и крупнее Хемы, и глаза у нее налиты кровью, будто у дракона. Только когда призрак заорал:

– Что за чушь мелет Гебре? Во имя Господа, что происходит? – всякие сомнения исчезли.

– Это чудо, – молвила матушка, имея в виду прибытие Хемы, но тем только окончательно ее запутала.

Раскрасневшаяся стажерка, сияя всеми оспинами на щеках, присовокупила:

– Аминь.

Морщины на лице Стоуна разгладились. Он не произнес ни слова, но вид у него был словно у альпиниста, который провалился в расселину и в последний момент ухватился за ниспосланную небесами веревку.

Много лет спустя Хема вспоминала:

– У меня во рту все пересохло, сынок, лицо залил пот, хотя было прохладно. Понимаешь, даже прежде того, как я оценила происходящее с медицинской точки зрения, меня поразили этот запах.

– Какой запах?

– Ни в одном учебнике ты этого не найдешь, Мэрион, не стоит и трудиться. Но он впечатывается сюда, – она постучала себя по носу, затем по лбу. – Если бы мне довелось написать учебник – хотя я особенно не стремлюсь, – я бы целую главу посвятила только сопровождающим роды запахам. Повяло чем-то вяжущим и вместе с тем сладковатым, эти два взаимоисключающих качества и определяют *смертный смрад*. Он всегда означает, что в родовой палате несчастье. Смерть матери, смерть младенца, одержимый мыслью об убийстве муж.

Она потрясенно смотрела на огромную лужу крови. Затем обвела взглядом разбросанные повсюду инструменты – они лежали на пациентке, рядом с пациенткой, на операционном столе. И уж совсем не укладывался в голове Хемы тот факт, что Мэри, милая сестра, которой полагалось стоять посреди суматохи в маске и шапочке воплощением стерильности и спокойствия, вместо этого почти без признаков жизни лежит на столе и лицо ее заливают смертельная бледность.

Мысли у Хемы сделались бессвязными и какими-то чужими, словно картинки из книжки проплывали перед ней во сне. В глаза почему-то бросились скрюченные пальцы на левой руке сестры Мэри Джозеф Прейз, один лишь указательный палец был почти прямой, будто перед тем, как потерять сознание, она давала кому-то строгий наказ – совершенно нехарактерная для нее поза. Хема то и дело посматривала на эту руку.

Вид Томаса Стоуна, занимающего священное место акушера, вывел Хему из себя. Она быстро оттерла его в сторону, Стоун споткнулся и опрокинул табурет. Он бормотал не умолкая, стараясь представить ей всю картину: как он навестил сестру, как они обнаружили, что она беременна, как плод не идет, симптомы шока нарастают, а кровотечение не останавливается...

– А это еще что такое? – изумилась Хема, завидев окровавленный трезин^[35] и раскрытую книгу. – Что за барахло? – Она взмахнула рукой, книга и инструмент полетели на пол.

Сердце у стажерки колотилось о грудную клетку, как мотылек о лампу. Не зная, куда деть руки, она сунула их в карманы. В том, что касалось книги и барахла, ее вины не было. Ее вина (она начинала это понимать) лежала глубже, она не проявила чутья сестры милосердия и не оценила серьезности состояния сестры Мэри Джозеф Прейз, когда передавала ей слова Стоуна. Положилась на других, а другие-то ничего и не сделали. Никто, включая матушку, не узнал, что сестра тяжело больна.

Сестра Мэри Джозеф Прейз чуть повернула голову, и матушке показалось, что так она отвечает на прикосновение. Ничего подобного, из-за жестоких болей та и не почувствовала, что матушка держит ее за руку.

Длинное золотое копье с железным наконечником и небольшим на нем пламенем было в руке его, и он вонзал его иногда в сердце мое и внутренности, а когда вынимал из них, то мне казалось, что с копьем он вырывает и внутренности мои.

Матушка вроде бы расслышала, что шептала сестра Мэри Джозеф Прейз – хорошо знакомые им обеим слова святой Терезы Авильской.

Боль от этой раны была так сильна, что я стонала, но и наслаждение было так сильно, что я не могла желать, чтобы кончилась эта боль. Благо душе, познавшей истину в Боге.

Только в отличие от святой Терезы сестра Мэри Джозеф Прейз явно желала, чтобы эта боль кончилась, и, по словам матушки, боль взаправду вдруг ослабила свою хватку и сестра чуть слышно шепнула:

– Изумляюсь, Господи, твоему милосердию. Я не заслужила его.

Сознание ее на короткое время прояснилось, глаза блуждали, она снова и снова пыталась заговорить, но слов было не разобрать. В помещении посветлело, «словно пелена растаяла», как говорила потом матушка. Сестра Мэри Джозеф Прейз вроде бы поняла, что находится на своем рабочем месте – в Третьей операционной – в качестве пациентки и что обстоятельства складываются не в ее пользу.

– Пожалуй, она почувствовала, что *заслужила* смерть. – Матушка старалась угадать ход мыслей мамы. – Если вера и милость Господня призваны сглаживать грешную природу всех людей, то сейчас это равновесие было позорно нарушено. Но она, наверное, по-прежнему верила, что Господь любит ее и прощение ждет ее если не на земле, то в царствии небесном.

Монахиня не знала, пугает ли маму мысль, что смерть может настичь ее в Африке, вдали от родины. Ведь, наверное, в каждом человеке глубоко укрыто желание замкнуть круг своей жизни возвращением в то место, где родился, то есть в ее случае в Кочин.

Тут матушка ясно услышала, как мама шепчет: «*Miserere mei, Deus*» – и принялась проговаривать слова псалма на латыни, в такт беззвучно шевелящимся губам роженицы:

– *...Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину и сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега...*

И пелена вернулась. Свет покинул ее мир.

– Подними табурет, Стоун, – рывкнула Хема. – А ты, – она щелкнула пальцами перед стажеркой, – вынь руки из карманов.

Она решительно опустилась на подставленный Стоуном табурет, бриллиант у нее в носу сверкнул. Хема сердито сдула упавшие на глаза волосы и расправила плечи. Каким бы ужасным ни представлялось открывшееся ей зрелище, следовало браться за дело. Она акушер, это ее работа, сколь бы опасной она порой ни была.

Хеме не хватало кислорода. Чтобы акклиматизироваться, легким требовалась примерно неделя. Как-никак ее Мадрас находился на уровне моря, а операционная – на высоте 8202 футов плюс табурет, на котором она сидела. Ноздри ее раздувались, как у чистокровного скакуна, пробежавшего четверть мили.

Но дыхание перехватило еще и от того, что предстало ее глазам. Гебре не сошел с ума и не нахлестался *таллы*, он говорил правду. Сестра Мэри Джозеф Прейз зачала, и задолго до отъезда Хемы в Индию. Более того, сейчас беременность поставила ее между жизнью и смертью. А кто отец?

Кто же еще? Она глянула на бледное лицо Стоуна.

А почему бы нет? Чему тут удивляться?

– Рак шейки матки, – вспомнила она слова своего профессора, – чаще всего встречается у проституток и *почти* равен нулю у монахинь. Почему почти? Потому что монахинями не рождаются! Потому что не все монахини попадают в монастырь непорочными девами! Потому что не все монахини живут в celibate!

«Все это не имеет значения», – напомнила себе Хема, надевая перчатки, поданные матушкой.

Стажерка записала в журнал прибытие доктора Хемлаты Калпана и упрекнула себя за то, что забыла про перчатки.

Хемлата расставила затекшие во время полета ноги и попрочнее уперлась ими в пол. Пальцами левой руки раздвинула губы, затем привычным движением правой раскрыла родовую канал.

– *Рама, Рама*, орудие из каменного века, – вскричала она с отвращением, осторожно высвобождая щипцы декапитатора из-за ушей ребенка. Окровавленный инструмент полетел в сторону.

Матушка перевела дух. Что бы там ни произошло, по крайней мере за дело взялся акушер. Она не могла не заметить, как Хемлата и Стоун поменялись ролями: теперь Хема кричала и швырялась предметами.

Матушка поведала, что ужасные боли у сестры Мэри Джозеф Прейз одно время вроде бы прошли, она даже стала говорить... но потом возобновились с прежней силой.

– Господи, – выдавила Хема, зная, что в естественных условиях боли не прекращаются, пока ребенок не родится, – это похоже на разрыв матки.

Та к вот откуда столько крови. Правда, есть еще вероятность *Placenta previa*^[36] – плацента заткнула выход из утробы. В любом случае ничего хорошего.

– Когда вы перестали слышать стук сердца плода?

Ответа не последовало.

– Давление?

– Шестьдесят при прощупывании, – помолчав, сказала сестра-анестезиолог, словно ждала, что кто-то сделает за нее ее работу.

Хема испепелила медсестру Асквал взглядом.

– Ждешь, пока оно упадет до нуля? Интубируй! Очнется, петидин внутривенно. Закончишь – скажешь. Где Гхош? За ним послали? А кто пошел за кровью? Как! Никто? Одни идиоты, что ли, вокруг? Живо! Марш!

Двое кинулись к двери.

– Берите в оборот каждого встречного-поперечного, пусть сдает кровь! Крови нам нужно много!

Двумя пальцами правой руки Хема коснулась головки плода. Другой рукой она надавила сестре Мэри Джозеф Прейз на живот.

Медсестра Асквал дрожащими руками вставила трахеальную трубку. С каждым вздохом воздушного мешка полная грудь роженицы вздымалась.

Руки Хемы словно превратились в глаза, она тщательно прощупала будущее поле битвы, пальцы внутри были чуткими датчиками, пальцы снаружи были им в помощь. Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало верно оценить данные, ширину таза, предлежание ребенка.

– Что это у нас здесь такое? – произнесла она громко. Вот ребенок в положении головой вниз, а это что? Вторая головка? – Господи, Стоун? – Она отдернула руку, словно коснувшись раскаленного угля.

Стоун в молчании смотрел. Он ничего не понимал, но боялся спросить. А она уставилась на Стоуна в ожидании ответа, *любого* ответа. Из груди у нее рвался крик.

– Все ненужное – вон из организма? – пробормотал Стоун, полагая, что она имеет в виду его попытки сокрушить ребенка череп.

– Пошел ты, Томас Стоун, еще будешь мне тут цитировать свою идиотскую книгу. Думаешь, это все шуточки?

Стоун, который, напротив, полагал, что все серьезнее некуда и что Хема делает всю работу за него, покраснел.

Хема повернулась и еще раз оценила серьезность положения. Да, несомненно, целых *две* новые жизни под угрозой.

Слова ее обрушились на Стоуна безжалостными ударами.

– *Один* раз посетить врача в период беременности? Почему ты не показал ее мне хотя бы один раз? Я бы никуда не поехала. А теперь смотри, что получилось. Чудо из чудес, черт бы его побрал. Всего этого вполне можно было избежать. *Избежать!* – Последнее слово свистнуло бичом.

Стоун стоял понурившись, как нашкодивший школьник перед директором. Что тут скажешь? Запинаясь, он проговорил:

– Я не знал!

В глубине души Хема не верила, что Стоун – отец ребенка, даже детей, сестры Мэри Джозеф Прейз. Разве такое возможно? Но цинизм акушерки, которая повидала все на своем веку, быстро вернулся.

– Так, значит, непорочное зачатие, доктор Стоун? – Она обошла стол. – В таком случае знаешь что, господин *практикующий хирург*? Это круче вифлеемских ясель! У девы двойня! – Хема немного помолчала, чтобы до него дошло. – Черт бы тебя побрал, ты что, не мог сделать кесарево сечение?

Она почти пропела последние слова, и они повисли в воздухе.

– Перчатки и халат, быстро! – рывкнула Хемлата. – Кювету для кесарева!

Пошевеливайтесь! Не хотите ее спасти, что ли? Живо! Живо! – И на всякий случай повторила по-амхарски: – *Толу, толу, толу!*

Все словно очнулись от оцепенения.

– А вы что, мозги себе накрахмалили? – накинулась она на медсестер, натягивая стерильный халат и перчатки. – Почему ничего ему не сказали? Матушка?

Монахиня уставилась в пол.

– Когда сердце плода перестало быть слышно? Какая была частота ударов?

– Это произошло слишком быстро. Мы...

– Замолкни, Стоун. Пусть один из вас даст мне четкий ответ. Остальные помалкивают. Давление какое?

– Около шестидесяти.

– Где кровь? Вы глухонемые? Отвечайте!

У больницы не было своего банка крови, так, пинта-другая в холодильнике, если больному повезет. Семьи пациентов не торопились сдавать кровь. Хема однажды накинулась на одного супруга, чтобы сдать для жены кровь, и тот отказался.

– Уж она бы наверняка отдала вам свою кровь, случись что, – упрекнула его Хема.

– Вы не знаете моей жены. Она ждет не дождется, когда я помру, чтобы заграбастать мое имущество и моих коров, – ответил муж.

Время от времени Хема, Гхош и матушка сами сдавали кровь и убедили кое-кого из медсестер последовать их примеру. По меньшей мере раз в год Гхош садился в машину и объезжал членов своей команды по крикету с той же целью.

– Никто так и не подумал про кровь? – кипятилась Хема. – Всем, кто не занят, пойти и сдать. Она – наш товарищ, черт побери! Быстрее! Нет, Стоун, только не ты. Не снимай перчаток. Постарайся принести пользу. Какая частота сердечных сокращений?

Стажерка уткнулась в медицинскую карту, не смея поднять глаз. Мысль о том, что придется сдавать кровь, перепугала ее. К тому же она прекрасно знала, что частоту сердечных сокращений плода никто не слушал, все занимались исключительно роженицей. Стажерка перечеркнула заголовок «Показано кесарево сечение», чувствуя, что матушка-распорядительница этого не одобрит. Облегчения не приносил и вид доктора Стоуна, который сжался, опустив голову. Так нашкодивший пес инстинктом чувствует, что надо бежать прочь, но знает, что стоит пошевелиться – и на тебя обрушится наказание.

– Давление?

– Не могу найти...

– Неважно, вливайте кровь, плесните йода, живо!

Она сорвала крышку со стерильной кюветы, схватила скальпель – не до стерильности теперь – и произвела вертикальный разрез ниже пупка. Происходящее никак не укладывалось у Хемы в голове.

Вот сейчас Мэри сядет и запротестует, казалось ей.

Раздался шорох, она обернулась и успела увидеть, как матушка-распорядительница оседает на пол.

Глава восьмая. Люди миссии

– Спаси и сохрани, – вымолвила матушка, едва очнувшись.

Обморок ее не длился и пяти секунд, никто и с места сдвинуться не успел. Стажерка подскочила, чтобы помочь ей встать. Несмотря на протесты Хемы, матушка вцепилась в табурет анестезиолога:

– Я остаюсь здесь!

Времени на споры не было.

Матушка склонилась над Мэри, принялась рассматривать пальцы на ее руке, в которую наконец переливали кровь. Матушке не хотелось глядеть на то, что делают доктора, на их красные перчатки, мелькающие под животом больной. Голова у нее кружилась.

Пока матушка трясущимися руками растирала Мэри пальцы, у нее сами собой вырвались слова:

– Инструменты Господа.

У сестры Мэри Джозеф Прейз были изящно вылепленные пальцы, тонкие и нежные. Даже безжизненные, они свидетельствовали о прекрасной моторике. А вот на белых пальцах самой матушки не слишком красиво выпирали крупные костяшки – признаки возраста, тяжелого труда и тщания, с каким приходилось отскребать руки после работы, которой она занималась наравне с Гебре. Сторож, садовник, разнорабочий и священник в одном лице, он всегда считал, что матушке не пристало пачкать руки.

Матушку охватила дрожь.

– Боже, возьми меня, – взмолилась она, – только подожди, пока они закончат, чтобы не отвлекались на меня.

Как ей хотелось выпить кофе, выращенный ею самой на каменистой земле Миссии, а потом сделать хороший глоток, ощутить во рту кофейную гущу. Итальянцы оставили после себя пристрастие к *macchiato* и *espresso*, которые подавали в каждом кафе Аддис-Абебы. Этих напитков матушка не употребляла. Кофе в Миссии заваривали традиционным образом, и он поддерживал ей силы в течение всего дня, да и прямо сейчас оказал бы свое волшебное действие.

В уголках ее рта скапливались слезы.

– Одна из вверенных моим заботам, дочь, которой у меня никогда не будет, теперь с ребенком...

Столько невыразимых тайн раскрывали перед ней страшные болезни. Приближающаяся смерть внезапно срывала покровы с прошлого и нечестивым союзом соединяла его с настоящим.

Господи! – взмолилась она про себя. – *Ты мог бы избавить нас от этого. Избавить ее!*

Матушка задумалась о том порыве, который заставил сестру Мэри Джозеф Прейз спрятать свое тело под облачением монахини или под медицинским халатом и маской. Это не помогло, одежда только подчеркивала прелесть неприкрытых участков плоти. Даже вуаль не в состоянии скрыть чувственность милого лица и пухлых губ.

Не один год матушка подумывала о том, чтобы ей и сестре Мэри Джозеф Прейз скинуть белое монашеское одеяние. Эфиопское правительство закрыло школу американской миссии в Дебре Зейт за попытки обращения учеников в свою веру. Матушка заведовала больницей и

не занималась охотой за заблудшими душами, но все-таки решила, что, быть может, с политической точки зрения разумнее переодеться в мирское платье. Но как-то раз ей попала на глаза сестра Мэри Джозеф Прейз, выходящая из Третьей операционной в юбке и блузке, и матушке захотелось прямо на месте завернуть ее в покрывало. В. В. Гонафер, лаборант в лаборатории Миссии, в тот момент стоял рядом с матушкой и тоже видел молодую монахиню в *муфти*. Он застыл, словно сеттер, сделавший стойку на перепела, и жарко покраснел до корней волос. И матушка решила, что монахиням в Миссии лучше не менять форму одежды.

Внезапный вскрик то ли Хемы, то ли Стоуна вернул ее к реальности. Матушка испуганно вскинула голову, и увиденное повергло ее в дрожь, лишь чудом она удержалась от нового обморока. Матушка зажмурилась и постаралась унять головокружение...

Не было у нее святого, кого бы она почитала образцом, к кому обращалась в трудную минуту. Одна мысль о том, что святая Екатерина Сиенская пила гной инвалидов, наполняла матушку омерзением. Она полагала, что такие замашки – всего лишь особенная континентальная слабость, и не терпела *воркующей пропаганды чудес*, всех этих кровоточащих ладоней и стигматов. Святая Тереза Авильская... что ж, она ничего против нее не имела и не осуждала сестру Мэри Джозеф Прейз за поклонение Терезе. Но про себя она тайком соглашалась с доктором Гхошем, специалистом по внутренним болезням, что пресловутые видения и экстаз святой – не более чем разновидности истерии. Гхош показывал матушке фотоснимки истеричек, сделанные знаменитым французским неврологом Шарко^[37] в парижском госпитале Сальпетриер. Шарко полагал, что источник бредовых идей находится у женщин в матке, в *hystera* по-гречески. Женщины на фото улыбались, принимали вызывающие позы, которые Шарко назвал «Распятие» и «Блаженство». Как кто-то мог улыбаться перед лицом паралича и слепоты? *La belle indifference* – вот как Шарко определил этот феномен.

Если у сестры Мэри Джозеф Прейз и были видения, она ни разу о них не обмолвилась. Порой по утрам вид у нее был такой, словно она не спала ночь, пылающие щеки и летящая походка показывали: ей стоит немалых усилий оставаться на этой грешной земле. Пожалуй, это объясняло то хладнокровие, с каким она сносила выходы Стоуна, ведь несмотря на все его таланты, работать с ним плечом к плечу было нелегко.

Вера матушки-распорядительницы отличалась большим прагматизмом. В себе она обнаружила стремление помогать людям. А кто сильнее нуждался в помощи, чем больные и страждущие, которых здесь было куда больше, чем в Йоркшире? Именно поэтому целую жизнь тому назад она и прибыла в Эфиопию. Несколько фотографий, памятных вещей, книг и документов, которые матушка привезла с собой, за эти годы пропали – или же она их куда-то засунула. Она не расстраивалась по этому поводу – в конце концов, одна Библия послужит ничуть не хуже, чем другая. А вещи, к которым она была привязана, также без особого труда можно заменить на новые: иголки с нитками, акварели, одежду.

А вот нематериальные ценности стали для нее значить чрезвычайно много: положение в городе, где каждый, включая ее саму, именовал ее «матушкой»; изобретательность, благодаря которой ей удалось создать из кучки домов уютную больницу – Восточноафриканский Эдем, как она в мыслях ее называла; репутация врачей, которых она сама набрала и которые со временем также превратились во «вверенных ее заботам». Пуповина, которая некогда связывала ее с Обществом ордена Христа-младенца, с Суданской внутренней миссией, была давно перерезана, и все они обратились в добровольных ссыльных – и сама она, и вверенные

ее заботам.

Название «госпиталь Миссии», которое нещадно коверкали местные, было неофициальным: в документах больница фигурировала не то как Базельская Мемориальная, не то как Баденская Мемориальная – ее так называли в честь щедрой церкви не то из Германии, не то из Швейцарии. Баптисты из Хьюстона жертвовали значительные суммы, но им и в голову не приходило увековечить свою благотворительность в названии. Доктор Гхош говаривал, что у больницы не меньше ипостасей, чем у индусского бога.

– В данный конкретный день только матушка знает, в каком госпитале мы трудимся – в Тенессийской баптистской клинике для амбулаторных больных или в Техасской методистской клинике для амбулаторных больных. Так что не ругайте меня за опоздания – ведь мне же надо восстать с одра и *отыскать* место работы... Ах, матушка, вот и вы!

«Да, мы все тут ссыльные, – думала матушка, – и сокамерников не выбираем».

Но даже к Гхошу, несомненно одной из самых странных божьих тварей, монахиня испытывала материнские чувства. Наряду с беспокойством за грешника.

Матушка вздохнула и вдруг ощутила на себе взгляды присутствующих. Оказалось, губы ее шепчут молитвы. На шестом десятке монахиня стала замечать, что порой слова и поступки у нее идут каждый своей дорогой. Например, в самые неподходящие минуты в голове вдруг оживут образы из прошлого и начнут сами собой укладываться в памятный альбом. Зачем? Когда этот альбом раскроется перед ней? На торжественном обеде? На смертном одре? У врат рая? Она давно уже не задумывалась об этих материях. Ее отец, шахтер, погрязший в пьянке и мраке забоя, называл врата рая «жемчужными вратами»^[38], Pearly Gates. По-английски «Перли Гейтс» звучит как имя неряшливой женщины, одной из тех, что стояли между отцом и семьей.

Но в одном монахиня была совершенно уверена: образ, явленный ей, когда она подняла взгляд, привлеченная возгласом Хемы или Стоуна, она не забудет никогда. Солнце неожиданно заглянуло прямо в окно Третьей операционной, заиграло зайчиками на стекле, металле и кафеле и высветило то, что показалось из разверстой раны на месте живота сестры Мэри Джозеф Прейз, – два тельца, сцепившиеся наподобие гиен над падалью. Синечерный сгусток крови – гематома – засиял как хлеб в таинстве причащения. Солнце будто нарочно искало нерожденного. *Мы видели друг друга. Маски сорваны.* Да, конечно, стечение обстоятельств можно было бы трактовать как чудо... но ведь ничего не произошло, законы природы не нарушались (что матушка считала *sine qua non*^[39] для чудес). Только все равно казалось, что место близнецов на небесном своде и их земная судьба предопределены еще до рождения; и монахиня знала, что отныне ничто, ни аромат эвкалиптов, ни стрекот дождя по жестяным крышам, ни запах вскрытой брюшной полости, уже не будет таким, как прежде.

Глава девятая. В чем состоит долг

Хема орудовала скальпелем так, будто ее поджаривали. Нет времени пережимать кровоточащие сосуды, и вообще, если кровит мало – это дурной знак. Она вскрыла поблескивающую брюшину и быстро установила ретракторы. Матка выпирала из раны. И вдруг она озарилась светом... Хема так и замерла, пока не поняла, что это солнечный луч проник сквозь матовое стекло окна и упал на стол. Во время операции с ней такого не случилось ни разу – за все годы, проведенные в Миссии.

Как Хема и опасалась, на матке имелся боковой разрыв. Широкую связку с одной стороны заполняла кровь. Значит, как только она извлечет близнецов, придется удалять матку, при беременности задача нелегкая, что прикажете делать с маточными артериями, скрученными, утолщенными и подающими пол-литра крови в минуту? Не говоря уже об обширном сгустке крови, растущем на глазах, что, подобно улыбающемуся Будде, злорадно мерцал в луче света и, казалось, говорил Хеме: *Я полностью деформировал анатомию, рассечение будет чертовски трудным, опознавательные точки исчезли. Ну же, за дело, медлить нельзя!*

Хема верила в нумерологию, числа у нее были на втором месте после имен.

Какое сегодня число? – спросила она себя.

«Тридцатый день девятого месяца. Четверок и семерок нет... Самолет чуть не разбился, мальчик ногу сломал... Я раздавила французу яйца... Что еще случится, что?»

Она стукнула Стоуна ножницами по костяшкам пальцев:

– Стоп!

Он возился с кровоточащим сосудом, вместо того чтобы взяться за ретрактор.

Она рассекла матку и попыталась извлечь того близнеца, который находился выше, но тем не менее головой вниз. При нормальных родах он оказался бы вторым, но сейчас превратился в первенца. Рука его была прижата к щеке, и, странное дело, он не шевелился.

Она расширила рану.

Привела в действие отсос.

Громко вздохнула, так что маска на лице колыхнулась. Вот она, проблема.

Малютки срослись головами, темечки их соединяла короткая мясистая трубка, она была уже и темнее пуповины, на ее стебле виднелся разрыв с неровными краями, нанесенный, несомненно, Стоуном с его базиотрибом. И через этот разрыв вытекала кровь, а ее и так в двойняшках было немного.

Господи, подумала Хема, пусть это будет мелкий кровеносный сосуд, только не мозг, не мягкие оболочки, не вентрикулярная или церебральная артерия, не спинномозговая жидкость, ничего такого. Она мыслила вслух, обращаясь к Стоуну, к операционной, к Господу и к близнецам, чьи жизни роковым образом зависели от того, какое решение она примет:

– У них могут начаться судороги, как только я ее перережу. Один мальчик истечет кровью, а другого кровь переполнит. У них может развиваться менингит...

Когда хирургу предстоит принять трудное решение, он порой заговаривает вслух со своим ассистентом, этот прием проясняет сознание. Теоретически это дает ассистенту время указать тебе на возможную ошибку, хотя в данном случае она бы не послушалась человека, натворившего столько дел. И все-таки решение надо было принимать взвешенное,

чтобы опять не дать маху. Ведь часто именно *вторая* ошибка, призванная исправить первую, губит пациента.

– Выбора нет, – произнесла Хема. – Надо резать.

Она наложила зажимы на соединявшую головы близнецов трубку, помянула имя бога Шивы, задержала дыхание и произвела разрез, приготовившись к самому худшему.

Ничего не произошло.

Она перевязала культы, перерезала пуповину, извлекла первого малыша, мальчика, и передала стажерке. Малютке повезло – отец до него не добрался. Затем Хема вытащила второго ребенка – тоже мальчика, которого отец успел взять в оборот. Его головка кровоточила, и Стоун, несомненно, раздавил бы ему череп, если бы Хема опоздала.

Оба мальчика были крошечные, самое большее три фунта. Недоношенные, ясное дело. До законного срока еще месяц, если не больше. Оба не подавали голоса.

Из вскрытой брюшной полости послышалось тяжкое хлюпанье, и Хема повернулась от детей к матери.

– Давление? – глянула она на Асквал.

Анестезиолог, глаза по блюдцу, покачала головой. Прекрасное лицо сестры Мэри Джозеф Прейз выглядело отекившим и безжизненным.

– Перелейте еще крови! Ради Бога! Лейте! – закричала Хема.

Копаясь в сдувшемся животе, Хемлата вспомнила, что, когда передавала стажерке второго близнеца, та так и осталась стоять с первым малышом на руках, а на лице у нее было недоумение. Но у Хемы не было времени беспокоиться по этому поводу. Дети приняты, теперь ее долг как акушера заниматься исключительно сестрой Мэри, которая стала матерью.

Глава десятая. Танец Шивы

Мы, безымянные малыши, явившиеся на свет, не дышали. Большинство новорожденных покидает материнскую утробу, чтобы разразиться пронзительным воплем, мы пожаловали в этот мир в гробовом молчании. Руки наши не были прижаты к груди, кулачки не сжаты, обмякшие тела были безвольны.

Наше жизнеописание следовало начать так: однояйцовые близнецы, мать – монахиня, умерла при родах, отец неизвестен, по всей видимости Томас Стоун, каким бы невероятным это ни представлялось. С течением времени этот зачин обогащался, от частого повторения обрастал подробностями. Но теперь, оглядываясь назад с высоты прожитых пятидесяти лет, я вижу, что кое-каких деталей недостает.

Когда схватки на время стихли, я потянул брата обратно в утробу, прочь от копий и гарпунов, что тянулись к нему от единственного выхода. Убийца не достиг своей цели. Потом я помню – правда, помню – приглушенные голоса, звуки какой-то возни. Мои спасители все ближе, вижу слепящий свет и чувствую на своем теле сильные пальцы. Тьма тает, я гложу и чуть не упускаю мгновение, когда нас физически разделяют, когда трубка, связывающая наши с Шивой головы, исчезает. Это потрясение. Бездыханный, неподвижный, я лежу в медном тазу, я только появился на свет, еще даже не начал жить – и все равно по сей день из памяти всплывает только мое расставание с Шивой. Но вернемся к жизнеописанию.

Стажерка уложила двух мертворожденных в медный таз, предназначенный для плаценты, поднесла таз к окну и сделала запись в карте: *Японские близнецы, сросшиеся головами, произведено разделение*. В своем стремлении услужить она совершенно забыла об элементарном: о дыхательных путях и кровообращении. Зато припомнилась прочитанная накануне ночью глава о желтухе новорожденных и благотворной роли солнечного света. Лучше бы в книге говорилось о японских близнецах (слово «сиамские» совершенно вылетело у нее из головы) или об асфиксии у новорожденных, подумала она. Только поставив таз у окна, стажерка сообразила, что ведь солнечный свет благотворно влияет на живых малюток. А эти мертвые. Ее охватил еще больший стыд и смущение.

Близнецы лежали лицом к лицу, чувствуя гальваническое прикосновение меди к коже. Чтобы описать их смертельную бледность, стажерка использовала в карте слова «белая асфиксия».

Солнечные лучи, доселе равномерно освещавшие все помещение, упали на таз.

Медь испустила оранжевое сияние. Молекулы металла задвигались живее. Его *прана* облекла полупрозрачную кожу малюток и проникла в рыхлую плоть.

Хема иссекла широкие связки, поставила зажимы на маточные артерии, моля Бога, чтобы не пережать мочеточники и не вырубить почки в этой кровавой каше. Быстро, быстро, быстро! На этот раз ей захотелось треснуть Стоуна по лбу, а не по костяшкам пальцев.

– Оттягивай как следует, ты!

Анестезиолог потянула Мэри за руку в поисках подходящей вены. Голова роженицы мотнулась, как у тряпичной куклы. Стоун не сводил с нее глаз. Матушка, усталая и скорбная, шлепнула Мэри по другой руке.

Когда Хема извлекла наконец матку, пульсации в брюшной аорте не было. Хема

наполнила шприц адреналином и насадила иглу в три с половиной дюйма. Руки у нее внезапно затряслись. Она приподняла Мэри левую грудь, помедлила, помянула имя Гопода и вонзила иглу между ребер прямо в сердце. Потянула поршень на себя, и жидкость в шприце окрасилась кровью сердца.

«Сколько я ни колола адреналин в сердце, никогда ничего не выходило, – произнесла про себя Хема. – Может, я таким образом подаю себе сигнал, что пациент мертв? Ну хоть один-единственный раз пусть получится. Зачем же тогда нас этому обучали?»

Хемлата гордилась, что сохраняет хладнокровие в самых экстренных случаях. Но сейчас, пока она, погрузив правую руку в брюшную полость, ждала, не встрепенется ли аорта, не ощутят ли ее пальцы подрагивания, к горлу подступили рыдания. Ведь это сердце милой сестры Мэри она пыталась запустить, это из Мэри ускользала жизнь. Они были связаны, две женщины из Индии на чужбине, и эта связь завязалась еще в Правительственной больнице в Мадрасе, хотя они тогда были незнакомы. Общая география, общая память сделала из них сестер. И вот руки сестры на глазах у Хемы синели, ногтевые ложа серели, а кожа приобретала мертвенный оттенок. Перед ней лежал труп, и матушка держала покойницу за руку.

Хема ждала дольше, чем в нормальных обстоятельствах. Прошло некоторое время, прежде чем она собралась с силами и объявила срывающимся голосом:

– Мы ее потеряли.

Все в операционной замерли в бездействии. Именно в это мгновение новорожденный, тот, чья голова не была повреждена, возвестил о своем присутствии, заскреб пальцами по тазу, ударил пяточкой в медную стенку, воздел руки к небу, а затем махнул ими вправо, указывая на своего брата.

– *Вот он – я, – объявил он. – Забудьте о всяких там «может быть», «наверное», «как» и «почему». Я все понимаю – и ситуацию, и обстоятельства, в свое время мы проясним подробности, и во всяком случае, Рождение, Зачатие и Смерть – это факты, от которых не отмахнешься... Я родился, и этого достаточно. Помогите моему брату. Ну же! Сюда! Немедля! Помогите ему!*

Хема бросилась к младенцу, повторяя «Шива, Шива», это было имя ее бога-покровителя, которого большинство считает Разрушителем, но в кого она также верила как в Преобразователя, способного сотворить добро из зла. Потом она признается, что в отношении двойняшек ожидала самого худшего. У одного вся голова в крови, да тут еще эта трубка, что соединяла их, и одному Богу известно, через что малюткам пришлось пройти прежде, чем их вырезали из утробы. Но она также предполагала, что стажерка с матушкой займутся новорожденными, пока она возится с матерью... И тут она припомнила, что ведь матушка-то сидела не шелохнувшись.

Стажерка так и остолбенела, услышав крик ребенка у себя за спиной, до того это шло вразрез с ее вроде бы вполне обоснованным прогнозом. Ребенок был не белый, а розовый, и никаких следов желтухи. Второй младенец был весь синий и оставался неподвижным, словно некая куколка, из которой и должен вылупиться плачущий малютка. Матушка, услышав плач новорожденного, стремительно встала с табурета и наградила стажерку таким взглядом, что у той не осталось никаких сомнений в собственной безнадежности. Хемлата занялась тем близнецом, который не шевелился, а матушка принялась торопливо обмывать крошку, подавшего признаки жизни.

Тот, что дышал, обвел припухшими глазами помещение, пытаясь разобраться, что к чему.

Посреди операционной с потерянным видом стоял человек, которого все считали отцом, белый, высокий, жилистый. Руки у него были в тальке от резиновых перчаток, пальцы сплетены в жесте, характерном для хирургов, священников и кающихся. Над глубоко посаженными голубыми глазами нависал выпуклый лоб, обычно, видимо, сообщающий его обладателю энергичное выражение, сегодня сменившееся туповатым. Нос был крупный, острый, как и полагается для этой профессии, губы тонкие и прямые, будто проведенные по линейке. Словно вырубленное из одного куска гранита лицо состояло из прямых линий и острых углов, которые сходились к подбородку, формой напоминавшему ланцет. Волосы справа разделял пробор, возникший еще в юности вследствие тщательной, волосок к волоску, работы с гребенкой. Верх был пострижен неровно, будто мужчина сказал парикмахеру: «Сзади и с боков покороче» – и, несмотря на протесты мастера, поднялся с кресла, как только его просьба была выполнена. То было упрямое, решительное лицо офицера с какого-нибудь старинного военного корабля, не хватало только подзорной трубы да длинных волос, увязанных в конский хвост. Разрушали образ лишь слезы, катившиеся по щекам.

И этот плачущий человек неожиданно для присутствующих выговорил дрожащим голосом:

– А... к-к-ак же М-м-мэри?

Хема глянула на него через плечо:

– Мне жаль, Томас. Слишком поздно.

Произведя отсос из плотки новорожденного, Хема качнула воздух в легкие малыша, все с лихорадочной поспешностью. Злость на Стоуна исчезла, уступив место состраданию.

Стоун издал скрипящий звук, плач мятущейся души. С момента прибытия Хемы он взял на себя роль стороннего наблюдателя, толку от него как от ассистента не было никакого. Он качнулся вперед, схватил из кюветы скальпель и положил руку Мэри на грудь. Хема решила, что благоразумнее не пытаться останавливать человека с режущим предметом.

Стоун приподнял Мэри грудь. Лозунг пионеров реанимации из Королевского гуманитарного общества зазвучал у него в ушах: «*Lateat Scintillula Forsan*» – может быть, осталась искорка.

Он сдвинул грудь в сторону, и под его ножом между четвертым и пятым ребрами появился разрез. Стоун провел скальпелем по ране еще раз, и еще, пока не прорезал мускул. От его медлительности не осталось и следа. Он перерезал хрящи, соединяющие два ребра с грудиной, раздвинул ребра и сам не поверил, когда его рука без перчатки скользнула в еще теплую грудную полость и пропала из виду. Губку легкого он сдвинул в сторону. Пальцы его коснулись сердца Мэри, лежавшего словно уснувшая рыба в плетеной корзине, он сжал его и поразился, какое оно большое, не охватить. Он отчаянно кивнул анестезиологу, веля качать воздух в легкие.

Правой рукой он массировал Мэри сердце, левой придерживал грудь, плотную и основательную в отличие от мягкого, скользкого сердца. Синие тени пятнами наплзали на лицо – оттенок, не полагающийся ее смуглой коже. Живот ее опал сдувшимся воздушным шариком, две его половинки раскрылись, словно книга, из которой выдрали корешок.

– Боже! Боже! Боже! – выкрикивал Стоун с каждым сжатием, взывая к Господу, от которого отрекся и в которого не верил.

А вот сестра Мэри верила и молилась каждый день на рассвете и перед сном. Каждое мгновение ее жизни было ниспослано Богом, Господь благословил каждый съедаемый ею кусочек пищи. *Пусть жизнь твоя будет прекрасной перед Господом.* Если Томас Стоун и не понимал этого, то относился с уважением, ибо точно такой же подход был характерен и для его работы в операционной, и для книги, созданной, кстати, при ее участии. Поэтому-то он и призывал сейчас Бога, ведь тот явно задолжал своей преданной слуге сестре Мэри Джозеф Прейз чудо. Если оно не произойдет, то Бог просто бесстыжий мошенник, что Стоун всегда и подозревал.

– Если хочешь, чтобы я поверил в тебя, Бог, тебе как раз выпал случай.

Двери операционной распахнулись.

Все уставились на появившегося в проеме человека.

Только это был всего лишь Гебре, священник, слуга Господень и сторож. В руках он держал прикрытую крышкой миску с *инжерой* и *вотом*, и аромат лакомства смешался с запахом плаценты, крови, околоплодных вод и мекония^[40]. Гебре топтался на пороге, не решаясь войти в святая святых, и глаза его все расширялись. На алтаре святилища лежала сестра Мэри, живот ее был распорот как у жертвенного барана, а в грудь запустил руку Стоун. Гебре проняла дрожь. Он поставил миску на пол, присел у стены, достал четки и погрузился в молитву.

Стоун удвоил усилия. Тело его раскачивалось взад-вперед.

– Я требую чуда, и немедленно!

Он продолжал массировать, даже когда сердце в руке сделалось мягким.

Теперь Стоун вопил:

– Дурацкие хлеба и рыба... Лазарь... Прокаженные... Моисей и Красное море...

Бормотание Гебре шло в такт с выкриками Стоуна, словно Бог в этом полушарии не знал английского и сторож выступал в качестве переводчика.

Стоун возвел глаза к потолку, будто ожидая, что кафель сейчас расступится, явится ангел и совершит то, что оказалось не по силам хирургам и священникам. Но увидел он только черного паука на паутинке, равнодушно взирающего на человеческие страдания. Погруженная в грудную полость рука больше не совершала резких движений и только тихонько поглаживала сердце. Слезы Стоуна капали на мертвое тело, плечи тряслись, он зарыдал и уронил голову на руку, лежавшую на груди Мэри. Никто не осмелился подойти к нему.

Много времени прошло, прежде чем он поднял голову и непонимающими глазами обвел полоску из зеленого кафеля на стене, дверь в автоклавную, стеклянный шкаф с инструментами, залитую кровью матку и набор зажимов, разложенных на полотенце, синечерную плаценту и матовые окна, сквозь которые сочился свет. Это все осталось, а Мэри больше нет. Как же так? Только сейчас он наткнулся взглядом на близнецов, уже покинувших свой медный трон, только сейчас заметил оранжевое сияние вокруг малышей. Надо же, оба младенца живы, поблескивают глазами, один вроде бы его изучает, а второй теперь такой же розовый, как первый...

– О нет, нет, нет, – жалобно произнес Стоун. – Не о таком чуде я просил!

Он выдернул руку из тела Мэри. Послышалось хлопанье, и Стоун покинул операционную.

Он вернулся со шваброй на длинной ручке, смахнул с потолка паука и раздавил каблуком.

Матушка поняла. Это было богохульство. Если Господь воплотился в паука, Стоун убил Бога.

– Томас, – проговорила Хемлата, хотя в Третьей операционной никогда не обращалась к нему по имени, только по фамилии, официально.

Оба младенца были у нее на руках, обмытые и спеленутые. У того, кому Стоун пытался проделать дырку в голове, отсосали немного околоплодной жидкости, но теперь, с давящей повязкой вокруг раны, он вроде полностью оправился. Обрубок на голове у второго, оставшийся от перемычки, что соединяла братьев, был зашит куском из пуповины.

Хемлата убедилась, что мальчики шевелят руками-ногами, косоглазия нет ни у одного и что они вроде бы видят и слышат.

– Томас, – сказала она, но Стоун понуро отвернулся.

Этот человек, с которым она проработала вместе семь лет и которого, как ей казалось, хорошо знала, сторбился под тяжестью горя.

«Висцеральная боль», – сказала себе Хема.

Как бы она ни была на него зла, его отчаяние и скорбь тронули ее. Ведь все эти годы окружающие считали Стоуна и сестру Мэри прекрасной парой, их бы чуть подтолкнуть, глядишь, и получилась бы семья. Сколько раз Хема видела, как сестра Мэри ассистировала Стоуну при операциях, работала над его рукописями, заполняла больным карты. Откуда она взяла, что их отношения должны этим и ограничиться? Надо было шлепнуть его хорошенько и прокричать ему в ухо: «Ты что, ослеп? Посмотри только, это не женщина, а клад! Она же тебя так любит! Сделай ей предложение! Женись на ней! Пусть она покинет монастырь, снимет с себя сан. Ты – ее первейший обет». Но Хемлата не вмешалась, поскольку все считали Стоуна черствым сухарем. Кто знал, какое глубокое чувство сокрыто на самом дне его души?

И эти два свертка у нее на руках – его дети? До сих пор не верится. Но против фактов не попрешь. Обратной дороги нет, надо проявить настойчивость – кто-то ведь должен позаботиться о младенцах. Болван Стоун потерял единственную женщину на свете, предназначенную ему судьбой. Зато теперь у него двое сыновей. Вся Миссия будет их холить и лелеять. Стоуну есть откуда ждать помощи.

Хема подошла поближе.

– Как назовем малышей? – спросила она неуверенно.

Он, казалось, не слышал. Хема помолчала и повторила вопрос.

Стоун мотнул головой в ее сторону, мол, как хочешь, так и называй.

– Уберите их с глаз моих.

Он по-прежнему стоял спиной к новорожденным, не отрывая глаз от Мэри, и поэтому не увидел, как его слова подействовали на Хему. На нее словно кипящим маслом плеснули, глаза загорелись яростью. Хема неверно поняла его намерения, а он – ее.

Стоуну хотелось умчаться прочь, но не от детей и не от ответственности. Неразрешимая загадка, *невозможность* их существования заставила его повернуться к детям спиной. Все его мысли были заняты Мэри: как она могла скрыть свою беременность, чего ждала? А на вопрос Хемы он бы мог ответить просто: «Почему ты спрашиваешь меня? Насчет этого я знаю не больше, чем ты», если бы не мучительная уверенность, что он здесь – главный виновник, хоть и представить себе не может, как, когда и где все произошло.

Неужели единственным земным предназначением этого тела, что, бездыханное, лежит перед ними, было дать жизнь двум человечкам? Матушка закрыла сестре Мэри веки, но они наполовину приподнялись, и смерть снова явила миру невидящие глаза.

Стоун бросил последний взгляд на Мэри. Ах, если бы она осталась у него в памяти не как монахиня, не как ассистентка, а как женщина, которой он объявил о своей любви, о которой заботился, на которой женился! Запомнить хорошенько жуткий образ ее мертвого тела! Он жил работой, работой и еще раз работой. Что еще мог он дать сестре Мэри? Но сейчас спасения не было и в работе.

Он глянул на ее раны. Ничего тут уже не излечишь, и раны не зарубцуются, и никаких шрамов на теле не появится. Это на *его* сердце останется шрам. Он не умел жить по-другому – и поплатился. Но если бы она только попросила, он бы изменился. Непременно. Знать бы только, как все обернется. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Он повернулся к выходу, оглядел операционную, словно стараясь запечатлеть в памяти место, где шифовал и совершенствовал свое искусство, где все было уложено и расставлено, как он хотел, и где, как он считал, был его настоящий дом. Стоун жадно смотрел на все, что его окружало, ибо знал, что никогда сюда не вернется. Он удивился, когда на глаза ему опять попала Хема с двумя свертками на руках, и это зрелище заставило его содрогнуться.

– Стоун, подумай вот насчет чего, – проговорила Хема. – Можешь стоять ко мне спиной, если тебе так больше нравится, мне ты не нужен. А вот детям нужен. Я больше тебя просить не буду.

С младенцами на руках Хема ждала ответа. Откровенные слова уже вертелись у него на кончике языка, он готов был рассказать ей все. В его глазах она видела боль и озадаченность, но вот осознания связи с крошечными мальчишками в них не было.

– Хема, я не понимаю, кто... почему они здесь... почему Мэри умерла.

Она ждала. Скажет он что-нибудь дельное или так и будет крутить вокруг да около? Ей хотелось схватить Стоуна за уши и хорошенько встряхнуть.

В конце концов он посмотрел ей в глаза (на детей он так и не глянул) и сказал совсем не то, что она хотела бы услышать:

– Хема, я их видеть не могу.

Хема отбросила всякую сдержанность. Ей стало обидно за детей. Да что, у него у одного, что ли, горе, в самом деле?

– Что ты сказал, Томас?

Он, наверное, понял: войска приведены в боевую готовность.

– Они убили ее, – пробормотал Стоун. – Не могу их видеть.

«Вот оно как, – подумала Хема, – вот как мы уходим из чужой жизни».

Близнецы у нее на руках запищали.

– А чьи они тогда? Разве не твои? Разве ты не был соучастником убийства?

Он скривил рот от боли, ничего не ответил и направился к выходу.

– Ты меня слышал, Стоун, – возвысила голос Хема, – это *ты* убил ее.

Стоун вздрогнул. Хема торжествовала. Жалости она больше не испытывала. Какая жалость к человеку, который отрекается от своих детей?

Он так толкнул распашную дверь, что та крякнула.

– Стоун, ты убил ее! – крикнула Хема. – Это твои дети.

Повисшее молчание нарушила стажерка. Стараясь предугадать события, она открыла

кювету для циркумцизии и натянула перчатки. Матушка позволяла ей лишь единственную процедуру проводить самостоятельно: орудовать гильотиной для крайней плоти.

Тут на нее накинута Хема:

– Бог ты мой, милая, тебе не кажется, что детишки уже достаточно натерпелись? Они же недоношенные! Опасность для них еще не миновала. А ты им хочешь еще и писун урезать?.. А ты-то сама чем занималась все это время? Лучше бы занялась их дыхалкой, правда, она с другого конца.

Хема покачала малышкой, умиляясь на их сопящие носики, на их благостные улыбки. У новорожденных обычно лица такие напряженные, перепуганные, а эти... Их мать лежит рядом мертвая, отец сбежал, а им и невдомек.

Матушка, Гебре, анестезиолог и прочие плакали. Весть разошлась среди санитарок и прислуги. Скорбные причитания, пронзительное *лулулулулу* наполнили Миссию. Рыдания не утихнут несколько часов.

Даже стажерка выказала первый намек на чутье сестры милосердия. Она перестала пыжиться и лезть из кожи вон, а дала себе волю, всплакнула по Мэри, единственной, кто ее понимал. Впервые стажерка увидела в детях не «зародышей» или новорожденных, а сироток, вроде нее самой, которых стоило пожалеть. Слезы полились у нее из глаз, тело обмякло, словно ненакрахмаленный халат. Неслыханное дело – матушка обняла стажерку за плечи. В глазах монахини стажерка увидела не только печаль, но и страх. Как-то пойдут дела в Миссии без сестры Мэри? Или без Стоуна? Ведь он наверняка не вернется, это очевидно.

Хемлата шикнула на плачущих и замурлыкала колыбельную; когда она переступала с ноги на ногу, ее ножные браслеты тихонько постукивали на манер кастаньет. Она особо остро чувствовала потерю, и вместе с тем что-то – наверное, воля сестры Мэри – приказало посвятить себя двум крошкам.

Близнецы мерно дышали, им было хорошо у нее на руках. Как прекрасна и ужасна жизнь, подумалось Хеме. Трагична – это еще слишком мягко сказано. Сестра Мэри, Христова невеста, ушла из жизни, едва родив двойню.

Хема подумала о Шиве, своем боге-покровителе. Чем ответить тридцатилетней женщине на безумие жизни? Пусть безумие внутреннее поставит ему заслон. Надо исполнить танец Шивы, надеть его застывшую улыбку, вертеться и кружиться, и хлопать шестью руками, и притопывать шестью ногами под внутренний ритм, выстукиваемый на *табле*, небольшом гулком барабане, – *тим-тага-тага, тим-тагатим, тим-тага...* Хема двигалась плавно, согнув ноги в коленях, с пятки на носок, в такт музыке, звучащей в голове.

Статисты в Третьей операционной уставились на нее как на полоумную, а она не прекращала свой танец, даже когда приводили в порядок мертвое тело, словно от ее легких па было рукой подать до самозабвенной, огненной пляски, которая одна способна удержать мир, спасти от неминуемого угасания.

В голову Хеме лезли всякие клочки и обрывки: ее новый «Грюндиг», губы и длинные пальцы Адида, обморок матушки-распорядительницы, бледнеющее на глазах лицо французского пилота, Гебре, облепленный куриными перьями... Что за поездка... что за день... что за безумный трагический день! Что тут делать, только танцевать, танцевать, танцевать...

Ноги несли ее на удивление легко и грациозно, шея, голова и плечи двигались, как велит традиция «Бхаратанатьям», брови перемещались вверх-вниз, глаза играли, и при этом

близнецов она из рук не выпускала.

За пределами госпиталя, в клетках возле памятника Сидист Кило, в предвкушении трапезы громко рычали львы, сейчас зритель просунет им меж прутьев решетки мясо; на границе города, у подножия горы Энтото, при звуках рыка насторожились гиены – сделают три трусливых шажка вперед и на шаг попятятся; император в своем дворце составлял план официального визита в Болгарию, а может быть, и на Ямайку, где у него имелись последователи, *раста*, названные так в честь имени, которое он носил до коронации, Рас Тефери, – которые считали его богом (он не имел ничего против, чтобы его подданные верили в это, но когда эта вера неизвестно как объявилась в дальних краях, в нем пробудилась подозрительность).

Последние сорок восемь часов бесповоротно изменили жизнь Хемы. У нее появились два малыша, которые время от времени косились на нее, словно подтверждая тем свое прибытие в этот мир, свою удачу.

У Хемы кружилась голова.

«Я выиграла в лотерею, не купив билет, – думала она. – Близнецы заполнили брешь в моем сердце, о существовании которой я даже не подозревала».

Но в аналогии кроется опасность: она слышала о носильщике с железнодорожного вокзала в Мадрасе, который выиграл несколько сот тысяч рупий, но быстро все просадил и был вынужден вернуться на платформу. Когда выигрываешь, часто теряешь, это факт. Ни за какие деньги не восстановишь надломленный дух, не достучишься до тщеславного, эгоистичного сердца – вот как в случае со Стоуном, думала она.

Томас молил о чуде. Глупец не видел, что новорожденные и были таким чудом. Прежде всего потому, что вопреки всему выжили. Хема решила назвать того близнеца, что первым начал дышать, Мэрион. Мэрион Симс^[41], скажет она мне позже, был обычный стажер из штата Алабама, который революционизировал хирургию женских органов. Он считается отцом акушерства и гинекологии, святым покровителем. Назвав меня в его честь, она воздала ему хвалу.

И Шива, в честь Шивы, – такое имя дала она мальчику с круглой дыркой в голове, который был почти мертв и ожил, только когда она помянула имя бога Шивы.

Да, Мэрион и Шива.

Она добавила к обеим именам «Прейз» в честь мамы.

И наконец, после некоторых раздумий (от судьбы не уйдешь, да и *он* не останется безнаказанным), в графе «фамилия» она поставила: *Стоун*.

*Кольшеч в дырку вонзится,
Живая душа родится
И будет она притом
Либо дыркой, либо колом.*

*Четвертый закон движения Ньютона (как учили
старейшины Мадрасского христианского колледжа при
посвящении в первогодки А. Гхоша, группа 1938,
общежитие Св. Фомы, корпус «Д», Тамбарам, Мадрас)*

Глава первая. Язык кровати и спальни

В то утро, когда родились близнецы, доктор Абхи Гхош проснулся в своей квартире под воркование голубей за окном. Птицы были и наяву, и во сне, перед самым пробуждением он сорвался с огромного баньяна, росшего возле дома его детства, – пытался рассмотреть, что творится в соседнем доме, где проходила свадьба. Но, хотя птицы услужливо чистили своими крыльями окна, ничего не было видно.

Перед глазами так и остался стоять древний баньян – дерево, которому нипочем оказались ни мадрасские муссоны, ни знойные летние дни, было его защитником и проводником. Военный городок возле горы Святого Фомы в предместье Мадраса кишел детьми железнодорожников и военных, что вполне устраивало мальчишку-безотцовщину, тем более что потрясенной смертью мужа матери было не до детей. Ананд Гхоши, бенгалец из Калькутты, был командирован в Мадрас «Индийскими железными дорогами». Со своей будущей женой, девушкой из англо-индийской семьи, дочерью начальника станции в Перамбуре, он познакомился на танцевальном вечере для железнодорожников, куда его занесло шутки ради. Обе семьи не одобрили этот брак. У них родилось двое детей, сперва девочка, потом мальчик. Маленькому Абхи Гхоши не исполнилось и месяца, когда отец умер от гепатита. Абхи вырос в самостоятельного, жизнелюбивого юношу, смело идущего по жизни. Сделавшись постарше, он выбросил «и» из своей фамилии, словно бородавку свел. Когда Абхи был на первом курсе медицинского вуза, у него умерла мать. Сестра с мужем смотали удочки, обиженные, что дом в военном городке переходит к нему. Сестра даже заявила, что у нее больше нет брата, и в свое время он убедится в справедливости ее слов.

По утрам Гхош особенно остро скучал по Хеме. Ее бунгало, спрятавшееся за живой изгородью, находилось совсем рядом, но за запертой дверью было тихо. Всякий раз, когда Хема отправлялась в отпуск в Индию, жизнь Гхоша делалась совершенно невыносимой, голову сверлила мысль: а вдруг она выскочит замуж?

Когда он провожал ее в аэропорту, его так и подмывало выпалить: «Хема, давай поженимся». Но он знал, что она откинёт голову и расхохочется. Гхош любил, когда Хема смеялась, только не над ним. И так и не сделал предложения.

– Болван! – объявила Хема, когда он в который раз осведомился, не намерена ли она заняться поиском перспективных женихов. – Ты же меня хорошо знаешь. С чего ты взял, что мне нужен жених? Лучше я подыщу невесту тебе, вот что! Ты человек матримониально озабоченный.

Хеме его ревность казалась шуткой: Гхош изображает, что увивается за ней, а она играет роль неприступной и дает ему от ворот поворот.

Знать бы ей, как мучили его незваные образы: Хема в сари невесты сгибается под тяжестью золотого ожерелья; Хема сидит рядом с уродливым женихом, и на шее у них буйволиным ярмом цветочные гирлянды...

– Валяй! Мне-то что за дело! – произносит Гхош вслух. – Но спроси себя, сможет ли он полюбить тебя, как я? Что толку в образовании, если ты позволишь своему отцу отвести тебя к бугаю брахманской породы, словно корову? – Тут ему представляется бычий пенис... и он издаст стон.

На этот раз, когда стало очевидно, что отъезд Хемы неизбежен, Гхош повел себя иначе:

он потихоньку отправил в Америку заявления о зачислении в интернатуру. Ну да, ему тридцать два, но еще не поздно начать все заново. Надо быть хозяином своей судьбы. Вот и больница округа Кук из Чикаго ответила телеграммой, что высылает ваучер на авиабилет. Когда официальное письмо и контракт прибыли, это никак не сказалось на его чувстве к Хеме, зато помогло ощутить себя не таким беспомощным.

На кухне Алмаз яростно гремела посудой, наливая воду из Муссолини.

– Ради бога, потише, – выкрикнул привычные слова Гхош.

Печь с водогреем была пузатая, что придавало ей сходство со свергнутым диктатором, отсюда пошло прозвище. Вода нагревалась быстро, стоило разжечь в Муссолини огонь. Правда, Алмаз ворчала, что приходится возиться с дровами и растопкой – и все ради чего? Чтобы приготовить чашку этого мерзкого порошкового кофе для *гета*? По утрам Гхош предпочитал растворимый кофе густому эфиопскому напитку. Но куда больше кофе Гхош ценил возможность помыться горячей водой.

Он завернулся с головой в одеяло, когда Алмаз прошествовала в ванную с дымящимся котлом.

– *Баня!* – проворчала она по-амхарски. Ни на каком другом языке она не говорила, хотя Гхош подозревал, что Алмаз знает английский лучше, чем показывает. Вылив котел в ванну, она закончила свою мысль: – Мыться каждый день вредно. Какая жалость, что у хозяина кожа не *хабеша!* Она была бы всегда чистая, скрести не надо.

Несомненно, Алмаз этим утром побывала в церкви. Когда он только приехал в Эфиопию, какая-то женщина на Менелик-стрит вдруг глубоко ему поклонилась, он даже шарахнулся в сторону. Только позже Гхош понял, что у него за спиной возвышалась церковь. Перед церковью прохожие приседали, троекратно целовали стену и крестились. Несогрешившие могли войти, прочие оставались на противоположной стороне улицы.

Кожа у высокой круглолицей Алмаз была цвета дуба, ее чуть скошенные к носу овальные глаза говорили о страсти, но квадратный, почти мужской подбородок, казалось, противоречил этому, что, впрочем, только привлекало восхищенные взгляды. У нее были большие, но красивые руки, широкие бедра и мощный зад, который до того оттопыривался, что на него, Гхош был убежден, вполне можно было поставить чашку и блюдце.

Она попала в Миссию в двадцать шесть лет с родовыми схватками, на десятом месяце беременности, очень гордая собой, что смогла выносить *этого* ребенка, тогда как все прочие не прижились в ее утробе. В женской консультации студенты дважды записали в ее карту: «Тоны сердца плода прослушиваются». Но в день предполагаемых родов Хема услышала только тишину. Как показал осмотр, за ребенка стажеры приняли гигантскую фиброму матки, а что до «тонов сердца плода», то они остались на их совести.

Алмаз категорически не согласилась с диагнозом.

– Смотри. – Она сдавила налитую грудь. Брызнула струйка молока. – Неужто сиська даст молоко, если не надо кормить ребенка?

Да, сиська даст, если ее обладательница верит. Прошло еще три месяца, никто не родился, ни черепа, ни позвоночника ребенка на рентгенограмме не оказалось, и Алмаз убедилась, что была не права. Вместе с фибромой Хеме пришлось удалить и саму матку, съеденную опухолью. В городе Сабата ждали возвращения Алмаз с новорожденным. Но Алмаз решила не возвращаться в родные места и осталась в Миссии.

Он услышал шаги Алмаз и стук чашки о блюдце. Запах кофе заставил его выглянуть из-под одеяла.

– Что-нибудь еще? – спросила Алмаз, изучающе глядя на Гхоша.

Да, мне нужно тебе сказать, что я уезжаю из Миссии. Честное слово! Не хочу быть игрушкой в руках Хемы. Но он не сказал этого, только головой покачал. Он чувствовал, что Алмаз интуитивно понимает, каково ему приходится без Хемы.

– *Есус Христос*, прости этого грешника, вчера вечером он опять где-то пьянствовал, – проворчала Алмаз, нагибаясь, чтобы достать из-под кровати бутылку пива.

Увы, на нее сошел дух прозелитизма. Гхош, казалось, подслушивал ее разговоры с Господом, не предназначенные для чужих ушей. Нет, Библию следует выдавать только священникам, подумалось ему. А то каждый мнит себя проповедником.

– Да благословенны будут святой Гавриил, святой Михаил и все прочие святые, – продолжала она по-амхарски, уверенная, что он понимает, – я молилась, чтобы Хозяин обновился, оставил свои *дурие* замашки, но молитва моя не была услышана.

Слово *дурие* развязало Гхошу язык. Оно значило «грубый», «распутный», «нечестивый» и больно его укололо.

– Что дает тебе право так ко мне обращаться? – сердито осведомился он, хотя особого гнева не испытывал.

Он чуть было не добавил: «Ты ведь мне не жена!» – но осекся. К его неизбывному стыду, дважды за эти годы они с Алмаз были близки, оба раза он был пьян. Она лежала под ним, разметавшись, и что-то ворчала, даже когда их бедра вошли в единый ритм. Точно так же она ворчала, когда грела воду и заваривала кофе. Он решил, что Алмаз таким образом выражает и боль, и удовольствие. Когда все кончилось, она одернула юбку, спросила: «Что-нибудь еще?» – и оставила Гхоша наедине с его грехом.

Он был признателен ей за то, что она не стала раздувать эти два эпизода. Но они как бы дали ей право пилить его, причем постоянно. Впрочем, было похоже, что святые взаправду помогают тем, кто обращается к нему в таком тоне; она как могла защищала его самого, его имущество и его репутацию, пуская в ход не только свой язык, но, если надо, ноги и кулаки. Порой Гхошу казалось, что он – ее собственность.

– Зачем ты раздражаешь меня? – спросил он уже обычным тоном. Нет, ему никогда не набраться смелости, чтобы объявить ей о своем отъезде.

– А разве я с вами говорю? – огрызнулась Алмаз и вышла.

Он заметил на блюдечке рядом с чашкой кофе две таблетки аспирина, и сердце его растаяло.

«Женщины этой земли – бальзам на мои раны», – подумал Гхош, наверное, в сотый раз с момента своего прибытия. Эфиопия потрясла его до глубины души. Он, конечно, видел фото в «Нэйшнл Джиографик», но окутанная туманом высокогорная империя превзошла все ожидания. Холод, разреженный воздух, дикие розы, величественные деревья напомнили ему Конур, высокогорный курорт в Индии, куда он ездил мальчиком. Его императорское величество император Эфиопии, может, и представлял собой нечто исключительное по части державной осанки и царственного достоинства, но Гхош обнаружил, что многие его подданные очень похожи на него физически. Их острые, прекрасно вылепленные носы и выразительные глаза ставили их между персами и африканцами, с курчавыми волосами последних и кожей более светлого оттенка, характерной для первых. Сдержанные, преувеличенно официальные и нередко угрюмые, они легко выходили из себя и оскорблялись. Всюду им мерещились заговоры, а уж по части черного пессимизма они далеко переплюнули весь остальной мир. Но под этой внешней оболочкой прятались люди

смекалистые, любящие, гостеприимные и щедрые.

– Спасибо, Алмаз! – крикнул Гхош.

Та притворилась, что не слышит.

В туалете Гхош ощутил резкую боль при мочеиспускании и принужден был снизить напор.

– Словно бритвой по яйцам, – проворчал он, вытирая слезы. Какое название придумали французы? – *chaude-pisse*, но это и в малой степени не передает всех ощущений.

Это таинственное раздражение вызвано простоем? Или это камни в почках? А может быть, скорее всего, эндемическое воспаление мочевыводящих путей? Пенициллин не действовал, боль то усиливалась, то отпускала. Он основательно изучил вопрос, подобно ученому прежних времен, провел многие часы за микроскопом, исследуя свою мочу и мочу больных со схожими симптомами.

После своей первой половой связи в Эфиопии (единственный раз он не пользовался презервативом) понадеялся на полевую методику союзных войск, «профилактику после сношения», как ее именовали книги, – вымыть с мылом и хлоридом ртути, затем закачать в уретру серебряную протеиназовую мазь и проспирцевать на всю длину члена. Ощущения при этом были, будто он подвергся епитимье, изобретенной иезуитами. Боли приходили и уходили и усиливались по утрам безо всякой связи с «профилактикой». Сколько еще таких «проверенных временем» бесполезных методик существовало? Подумать только, какие средства армии всего мира ухлопали на такие «аптечки»! А ведь до открытия Пастером микробов доктора дрались на дуэлях из-за достоинств «перуанского бальзама на дегте», незаменимого средства для заживления инфицированных ран. Невежество распространяется с той же динамикой, что и знание. Но по-прежнему каждое следующее поколение врачей считает, что невежество осталось в прошлом.

Специальность в конце концов определяется личным опытом, вот и Гхош *de facto* заделался сифилидологом, венерологом, авторитетом по заболеваниям, передающимся половым путем. Каждый сановник, от дворца до посольств, мчался со своей венерической болезнью к Гхошу. Может быть, в округе Кук в Америке заинтересуются его опытом?

Помывшись и одевшись, он проехал двести ярдов до поликлиники в поисках Адама, одноглазого рецептурщика, который под чутким руководством Гхоша постепенно превратился в недурного диагноста. Но Адама нигде не было видно, и Гхош отправился к В. В. Гонаду. Титулов у В. В. была масса: лаборант, техник банка крови, младший администратор, и все они фигурировали на именном жетоне, красовавшемся на его просторном белом халате. Полное имя его было Вонде Воссен Гонафер, но он переименовал его на западный манер: В. В. Гонад^[42]. Гхош и матушка-распорядительница поспешили объяснить несчастному, что означает его псевдоним, но оказалось, что В. В. не нуждается в наставлениях.

– У англичан ведь есть мистер Стронг? Райт? Хед? Карпентер? Мейсон? Миссис Манипенни? Мистер Рич? А я буду мистером В. В. Гонадом.

В. В. был одним из первых эфиопов, с кем Гхош свел короткое знакомство. С виду меланхолик, В. В. был жизнелюб и честолюбец. Урбанизация и образование дали В. В. *gravitas*, несколько преувеличенную обходительность, шея и тело изящно изогнуты в поклоне, разговор прерывается томными вздохами. Под влиянием алкоголя его манеры либо

делались еще более изысканными, либо он вовсе забывал о них.

Гхош попросил В. В. сделать ему укол витамина В12. Игра стоила свеч – даже плацебо дает определенный эффект.

В. В. прокипятил шприц.

– Доктор Гхош, ни в коем случае не пренебрегайте профилактическими средствами, – застенчиво просопел он. Уж чья бы корова мычала.

– Я и не пренебрегаю. Сношений без резинки не допускаю. Веришь, нет? Понять не могу, откуда берется это жжение по утрам. А вы, сэр? Почему не пользуетесь кондомом, В. В.?

Гонад носил высокие каблуки, в связи с чем походка у него была страусиная. Голову его украшала шапка взбитых волос, эту прическу впоследствии назовут «афро». Он вытянулся во все свои пять футов один дюйм и надменно произнес:

– Чтобы заняться любовью с резиновой перчаткой, и из госпиталя-то выходить незачем.

Если бы Гхош знал, что сестра Мэри лежит сейчас в муках у себя в комнате, он бы кинулся на помощь и, быть может, ее жизнь была бы спасена. Но в ту минуту никто ни о чем не подозревал. Стажерка еще не доставила ей сообщение, а когда доставит, никому не скажет о том, как сестре плохо.

Вместе со старшей сестрой и стажерками Гхош неспешно совершил обход, продемонстрировал новым стажеркам случай сульфамидной сыпи, удалил асцитическую жидкость из живота больного циррозом. Прием больных в поликлинике занял большую часть дня, да еще лекция о туберкулезе будущим медсестрам. За делами он забывал про Хему, которая должна была вернуться два дня тому назад. На это у него имелось только одно объяснение, и оно его не радовало.

Ближе к вечеру Гхош уехал из Миссии – за несколько минут до того, как раздались вопли Стоуна, на руках несущего сестру Мэри в операционную.

Гхош припарковался возле величественного Иудейского Льва, украшавшего площадь у железнодорожного вокзала. Вытесанная из черно-серых каменных блоков, с квадратной короной на голове, кубистическая скульптура смахивала на шахматную фигуру и придавала этой части города нечто авангардистское. Из-под нависших бровей глаза льва грозно озирали площадь.

Гхош шагнул в хромированный и лакированный мир заведения Ферраро, где постричься стоило в десять раз дороже, чем в «Джай Хинд», индийской парикмахерской. Но у Ферраро, с его матовыми стеклами и столбиком парикмахера^[43] в красно-белую полоску, человек сбрасывал пару лет. Зеркальные стены, круглые светильники, кресло из бычьей кожи, блистающее хромом рычагов и ручек, которых было больше, чем на операционном столе в Миссии, все это могло предоставить только это итальянское заведение.

Ферраро в своем белоснежном халате был вездесущ: принимал у Гхоша плащ, усаживал в кресло, набрасывал накидку и при этом непрерывно трещал по-итальянски. И неважно, что Гхош знал на этом языке только пару слов, болтовня пожилого мастера создавала некий музыкальный фон, не требующий ответа. «Остерегайся молодого врача и старого парикмахера», – гласит поговорка, но Гхошу казалось, что в их случае и сам он, и Ферраро попали в надежные руки.

Прежде чем стать парикмахером, Ферраро служил в войсках в Эритрее. Если бы они говорили на одном языке, Гхошу было бы о чем его расспросить. Он бы с интересом послушал об эпидемии тифа сороковых годов, когда в светлую голову какого-то итальянского чиновника взбрела замечательная мысль опрыскать весь город ДДТ и тем самым избавиться от вшей и болезни. Или о том, как итальянцы боролись с венерическими заболеваниями в войсках, которым в Асмаре явно недоставало шести официальных итальянских гарнизонных путан.

Ему захотелось излить перед Ферраро душу, рассказать, как его мучает ревность и что приходится уезжать из страны из-за женщины, которая не воспринимает его любовь всерьез. Ферраро с легким щелчком опустил спинку кресла, вид у него был такой, словно он интуитивно прочувствовал проблему и сделал первый шаг к ее решению. Никто и не догадывался, что в это самое мгновение сердце сестры Мэри перестало биться.

Мастер нежно обернул Гхошу шею первым горячим полотенцем, потом взялся за второе, а закончив процедуру, тактично стих. Гхош услышал, как мастер на цыпочках подкрадывается к месту, где оставил сигарету, и затягивается.

Какое умение услужить, подумал Гхош. В том, что парикмахерское искусство – призвание Ферраро, не было никаких сомнений, его инстинкты были безошибочны, а на лысину не стоило обращать внимания.

Благоухая лосьоном после бритья, Гхош сел за руль, внимательно, словно в последний раз, огляделся по сторонам и поехал вверх по крутому склону Черчилль-роуд мимо *Джаи Хинд*. На светофоре пришлось виртуозно поиграть педалью газа и сцеплением, пока не зажегся зеленый. Свернул налево, миновал лавку пряностей Ванилала, ткани Вартаняна и остановился у почты.

Прокаженная девочка, застолбившая участок, где частенько попадались иностранцы, казалось, за одну ночь выросла, превратилась в девушку. Грудь ее распирали ткань *шамы*, нос сделался совсем плоский. Гхош положил в протянутую ладонь один *быр*.

На звук кастаньет он обернулся. *Листиро*, чистильщик обуви, с ящиком, украшенным бутылочными колпачками, смотрел на него снизу вверх. Перед почтой стояло с полдюжины мужчин, они курили или читали газеты, а *листирос* надраивали им ботинки. Это тоже занесли итальянцы, подумал Гхош, люди чаще чистят обувь, чем моются.

Начал накрапывать дождик, руки чистильщиков задвигались с удвоенной быстротой. На заливке у паренька Гхош заметил белое пятно. Неужели гумма?^[44] Такой молодой – и уже рубцы от леченного сифилиса? *Venereum insontium* – благоприобретенный сифилис – по-прежнему фигурировал в учебниках, хотя Гхош в него не верил. Врожденный сифилис – другое дело, мать заражает ребенка еще в утробе, а все прочие формы, как он считал, передаются только половым путем. Он видел, как пятилетние дети, нимало не смущаясь, изображали половой акт.

Внезапный ливень загнал Гхоша в машину. Зажглись уличные фонари. Автобусы «Амбасса» сделались ярко-красными. На крыше трехэтажного здания «Оливетти» (где размещались также «Пан-Ам», «Венеция Ресторанте» и «Мотилал Импорт-Экспорт») загорелась желтая пивная кружка, увенчанная шапкой белой пены, погасла и зажглась вновь. Когда эту рекламу только установили, она была предметом всеобщего удивления. Босоногие пастухи, что гнали стада овец на праздник Мескель, застывали, разинув рты, и мешали уличному движению, а скотина разбрелась куда хотела.

В «Баре святого Георгия» дождь гвоздил по зонтам с надписью «Кампари», установленным во внутреннем дворе. В помещении было полно иностранцев и местных, готовых потратиться на изысканную атмосферу. Из-за стеклянной двери просачивался аромат *canoli, biscoti*, шоколада *cassata*, молотого кофе и духов. Звуки патефона смешивались с гулом голосов, звяканьем чашек, скрежетом отодвигаемых стульев и стуком стаканов о покрытые пластиком столы.

Гхош уже было расположился возле бара, когда увидел в зеркале отражение Хелен – она сидела за столиком в дальнем углу. Близорукая, она, наверное, его не разглядела. Ее иссиня-черные волосы подчеркивали благородные черты. Она не обращала никакого внимания на своего кавалера, которым оказался не кто иной, как доктор Бакелли. Инстинкт подсказывал Гхошу немедленно удалиться, но бармен уже ждал, и он заказал пиво.

– Боже мой, Хелен, какая ты красавица, – пробормотал про себя Гхош, не отрывая глаз от отражения.

Своих девушек в штате «Бара святого Георгия» не имелось, но администрация не возражала, если к ним заглядывали высококлассные дамы. Хелен положила ногу на ногу, скромно прикрыв юбкой сливочно-белые бедра. Ягодицы у нее были такие, что подкладывать подушку не требовалось, родинка у подбородка придавала лицу особое очарование. Только почему у самых красивых девушек смешанной расы – *килли*, как их часто называли, хотя в этом определении было нечто унижительное – обязательно такой высокомерно-утомленный вид?

Бакелли – в кремовом пиджаке, с торчащим из кармана шелковым платком в тон галстуку – казался сегодня значительно старше своих пятидесяти с чем-то лет. Его тщательно постриженные усы в ниточку, сигарета в руке, невозмутимая поза бесили Гхоша, поскольку напоминали о том, что он сам тяжел на подъем и в Африке все эти годы его удерживает только инерция. Гхошу нравился Бакелли, врач тот был не слишком выдающийся, но хорошо знал пределы своих возможностей в медицине, а вот в выпивке эти пределы соблюдал не всегда.

Ровно неделю назад Гхош был потрясен, увидев вдрызг пьяного Бакелли; тот семенил по проезжей части в районе Пьяццы и распевал «Джовинеццу»^[45]. Близилась полночь, и Гхош, остановив свою машину, попытался усадить в нее пьяного, но тот оказал сопротивление, выкрикивая что-то насчет Адовы и реванша. Он будто снова грузился на военный корабль в 1934 году, снова был молодым офицером 230-го легиона национального фашистского ополчения и собирался сражаться за дуче, покорить Абиссинию и смыть позор поражения от императора Менелика в битве при Адове в 1896 году. Тогда десять тысяч итальянских солдат при поддержке эритрейских *аскари* вторглись из своей колонии, чтобы захватить Эфиопию. Их разбили босоногие бойцы императора Менелика с копьями и ружьями «ремингтон» (которые им продал не кто иной, как сам Рембо). Ни одна европейская армия не понесла в Африке столь позорного поражения. Оскорбление оказалось настолько глубоким, что даже люди вроде Бакелли, которые родились позже, жаждали реванша.

Гхош до своего приезда в Африку не понимал всего этого. Он не знал, что победа Менелика вдохновила движение Маркуса Гарви^[46] «Назад в Африку», пробудила panafricanское сознание в Кении, Судане и Конго. Для осознания всего этого надо жить в Африке.

Прошло сорок лет, и Муссолини, пылая жаждой мести, решил действовать наверняка – его лозунг был «Победа любой ценой». *Qualsiasi mezzo* – эфиопская кавалерия с кожаными щитами, копьями и однозарядными ружьями – наткнулась на единственного врага – облако фосгена, который успешно удушил всадников, и плевать на Женевский протокол. Бакелли участвовал во всем этом. И, глядя теперь в багровое лицо пьяного, карикатурно маршировавшего по Пьяцце, Гхош понял, как он, должно быть, гордился победой.

С того дня Гхош не видел итальянца.

Он тихонько сидел у бара, наблюдая за парочкой в зеркало. Когда Гхош впервые увидел Хелен, он безумно влюбился – на какие-то несколько дней. При каждой встрече она ему говорила: «Дай мне, пожалуйста, денег». А когда он спрашивал, на что, подмигивала, надувала губы и выдавала первое, что придет в голову, типа «Мама умерла» или «Мне нужно сделать аборт». У большинства девчонок из бара были золотые сердца, и они в конце концов удачно выходили замуж, но сердце Хелен было из неблагородного металла.

Бедняга Бакелли был без ума от Хелен, и давно, хоть у него и имелась жена. Он давал ей деньги, кротко сносил ее эгоизм и называл *donna delinquente*^[47], в качестве доказательства показывая на родинку на подбородке. Гхош давно хотел спросить Бакелли, взаправду ли он верит в тезисы гнусной книги Ломброзо^[48] «*La Donna Delinquente*». Исследования, проведенные на проститутках и преступницах, привели Ломброзо к выводу о существовании явных «признаков дегенерации», таких как «примитивное» распределение волос на лобке, «атавистическое» строение лица, обилие родинок. Это была настоящая псевдонаука, хлам.

Не допив свое пиво, Гхош выскользнул наружу, сама мысль о том, что придется говорить с кем-то из этой парочки, показалась ему невыносимой.

Авакяны уже закрывали свою лавку по продаже газовых баллонов, за их торговой точкой на землю спускался мрак, огни Пьяццы, мимолетная иллюзия Рима, остались позади. Дорога шла в гору вдоль длинной, мрачной, чуть ли не крепостной стены. Пролом в заросших мхом камнях именовался *Саба-деража* – семьдесят ступеней, – здесь пешеход мог срезать путь к *Сидист Кило*, правда, ступени были до того истерты, что местами превращались в скат, и ходить было небезопасно, особенно в дождь. Гхош проехал мимо армянской церкви, затем обогнул обелиск в *Арат Кило* – еще один военный памятник, – миновал готические купола и шпили Троицкой церкви и здание Парламента, образцом которому послужило аналогичное учреждение с берегов Темзы. У Старого дворца, не желая пока ехать домой, он свернул к *Casa INCES*, кварталу красивых вилл.

Идти в «Ибис» или какой-нибудь большой бар на Пьяцце, где работало по тридцать официанток, совершенно не хотелось. На глаза Гхошу попался самый обычный дом из шлакоблоков, в котором, похоже, находилось целых четыре бара. Таких заведений в Аддис-Абебе было не счесть. Подходы к дверям освещались тусклым неоновым светом, через сточную канаву перекинута доска. Гхош выбрал дверь справа, раздвинул бисерную занавеску. Баром заправляла, как он и подозревал, одинокая женщина. Оранжевая лампа освещала тесное помещение, дым от курящихся благовоний еще больше сужал пространство. Надписи на бутылках, заполнявших полки, впечатляли – *Pinch, Johnny Walker, Bombay Gin*, – хотя внутри был домашнего приготовления *тедж*. Его величество Хайле Селассие Первый в форме лейб-гвардейца взирал с плаката на стене. Длинноногая дама в купальнике улыбалась императору с календаря «Мишлен».

На оставшемся крошечном пятачке стояли стол и два стула. За ним сидела барменша с посетителем, который держал ее за руку; казалось, он пытается добиться ее внимания. Гхош уже решил было уходить, когда она вырвала руку, откинула назад волосы, встала и поклонилась. Высокие каблуки, стройные икры, темный педикюр. Какая хорошенькая, мелькнуло у Гхоша. Улыбка невымученная, настроение явно лучше, чем у Хелен. Мужчина угрюмо проскользнул мимо Гхоша и, не говоря ни слова, вышел.

Страна молока и меда, подумал Гхош. Молоко и мед, были бы доходы.

Гхош и барменша обменялись продолжительными любезностями, чередой поклонов, от глубоких вначале до чуть заметных в конце. Гхош уселся на барный стул, она прошла за стойку. Ей было лет двадцать, но, судя по широким бедрам и наполненности лифа, она успела родить как минимум одного ребенка.

– *Мин те татале?* – спросила она, поднося палец к губам на случай, если он не понимает по-амхарски.

– Глубоко сожалею, что ваш поклонник принужден был уйти из-за меня. Если бы я знал, что он здесь и как вы ему дороги, я бы не осмелился нарушить ваше уединение.

От удивления она разинула рот.

– Вы о нем! Он так бы и сосал свое пиво до самого рассвета, а мне бы и не подумал купить. Он из Тигреи. Вы лучше говорите по-амхарски, чем он, – просияла барменша, довольная, что сегодня вечером не придется изъясняться жестами.

Ее просвечивающее белое хлопчатобумажное платье заканчивалось чуть ниже колен. Узор цветной каймы повторялся на лифе и на сборках наброшенной на плечи *шамы*. Волосы у нее были распрямлены и подвиты на западный манер. Татуировка в виде волнистых линий зрительно удлиняла шею.

Красивые глаза, подумал Гхош.

Ее звали Турунеш, но Гхош предпочел обращаться к ней так же, как ко всем прочим женщинам в Аддис-Абебе: Конжит, что означало «красавица».

– Да будет благословен святой Георгий. И себе налей, пожалуйста. Отпразднуем вместе.

Она поклонилась в знак благодарности.

– Так сегодня ваш день рождения?

– Нет, Конжит, даже лучше. – У него на языке вертелось: сегодня я освободился от цепей женщины, которая мучила меня больше десяти лет; сегодня я принял решение: мое пребывание в Африке заканчивается, меня ждет Америка. – Сегодня я увидел самую красивую женщину в Аддис-Абебе.

Зубы у нее были крепкие и ровные. Смеясь, она обнажала десны и, как видно зная об этом, прикрывала рот рукой.

При звуках ее радостного смеха что-то в нем растаяло, и впервые за день, начиная с самого пробуждения, у него улучшилось настроение.

Прибыв когда-то в Аддис-Абебу, Гхош впал в глубокое уныние и чуть было не уехал. Оказалось, он совершенно неправильно истолковал намерения Хемы. Да, Хема пригласила его, но вовсе не для того, чтобы триумфально завершили ухаживания, начавшиеся, когда они были интернами в Индии. Она была убеждена, что своим приглашением оказывает Гхошу (и Миссии) услугу. Гхош скрыл свое смущение и унижение. К тому же зарядили затяжные дожди, они одни были способны довести человека до самоубийства. Гхоша спасли «Ибис» и Пьяцца. Он собирался где-нибудь выпить, и его внимание привлекла увитая плющом арка, рождественские свечи, музыка и женский смех. А когда вошел, ему

показалось, что его душа переселилась в какого-нибудь Навуходоносора. Лулу, Марта, Сара, Цахай, Мескель, Шеба, Мебрат – в этих женщинах из «Ибиса», в просторном баре и ресторане, что занимали два этажа и три веранды, он обрел семью. Девушки приветствовали его точно вернувшегося после долгой отлучки друга, развеселили, растормошили. Красотки ливнем обрушились на него, цвет их кожи менял оттенки от *cafe-au-lait* до угольно-черного. У некоторых полукровок кожа была оливковая или совсем белая, а глаза карие или даже зеленые. Слияние рас произвело на свет самые экзотические и прекрасные с виду плоды, а вот с внутренним содержанием обстояло хуже – на что нарвешься, неизвестно.

Но самым важным качеством местных женщин была их безотказность, доступность. Многие месяцы после своего приезда в Аддис-Абебу и даже после первого визита в «Ибис» Гхош хранил целибат. Ирония заключалась в том, что единственная желанная женщина как раз его и отвергла, а все прочие, окружавшие его, никогда бы не отказали.

У него, двадцатичетырехлетнего, кое-какой опыт в Индии имелся – юная стажерка по имени Вирджин Магдалин Кумар. Роман их длился три месяца, после чего она вышла из ордена и выскочила замуж за знакомого ему парня (и по-видимому, стала именоваться просто Магдалин Кумар).

– Хема, я живой человек, – пробормотал он. Эту фразу он произносил всякий раз, когда упрекал себя в неверности.

Гхош потянулся через стойку бара и ухватил Конжит за бочок.

– Ах, дорогая, не послать ли нам за ужином? Тебе не помешает нарастить плоть. Да и подкрепиться перед тем, что нам сегодня предстоит. Признаюсь, это мой самый, самый первый раз.

Будь она постарше (а среди держательниц таких баров преобладали женщины в годах, скопившие достаточную сумму за годы работы в шикарном заведении вроде «Ибиса»), он бы повел разговор в ином тоне, помягче, попрстойнее, повкрадчивее. Но с ней он пошел напролом, будто старшекласник.

Когда она погладила его по голове, Гхош замурлыкал от удовольствия. Из радиоприемника донеслись негромкие звуки *крара*, рифф из шести нот китайской гаммы, характерных для эфиопской музыки, неважно, медленной или быстрой, повторился. Гхош узнал популярную песню. Называлась она «Тицита», этому слову в английском нет прямого соответствия, оно означает воспоминание, окрашенное сожалением. Будто бывают другие воспоминания, подумал Гхош.

– Какая у тебя красивая кожа! Ты кто? *Банья*? – спросила она.

– Да, моя прелесть, я индус. И поскольку ничего красивого, кроме кожи, во мне нет, очень мило с твоей стороны сказать мне об этом.

– Да что ты такое говоришь? Клянусь всеми святыми, мне бы твои волосы. Как ты здорово говоришь по-амхарски. Твоя мать правда не *хабеши*?

– Ты мне льстишь.

Он научился немного по-амхарски в больнице, но свободно говорить мог только в беседе с глазу на глаз, вот вроде этой. У Гхоша имелась теория, что амхарский хорош и в больничной палате, и в спальне. *Ложитесь, пожалуйста. Снимите рубашку. Откройте рот. Глубоко вдохните...* Язык любви совпадал с языком медицины.

– По-настоящему я знаю только язык любви. Я не смогу карандаша в магазине купить, не знаю, как сказать.

Она засмеялась и снова прикрыла рот. Гхош взял ее за руки, она поджала нижнюю губу,

чтобы заслонить зубы, это движение тронуло и возбудило его.

– Почему ты прячешь свою улыбку? Она у тебя такая красивая!

Много, много позже они удалились в подсобку, и Гхош закрыл глаза и, как всегда, постарался представить себе, что перед ним Хема. Самая желанная.

Когда Гхош вышел из бара, над землей клубился туман, принесший с собой кладбищенскую тишину и пронизывающий до костей холод. На обочине дороги Гхош помочился. Раздался смех гиены, непонятно, что ее так развеселило, то ли его действия, то ли мужское хозяйство. Он развернулся и увидел, как меж деревьев возле первой кучки домов блеснули чьи-то глаза. Пытаясь на ходу застегнуться, Гхош бросился бежать, открыл машину, запрыгнул внутрь, запустил мотор и тронулся с места. Писающему человеку есть чего бояться и помимо гиен. *Шифта, леба, мажиратмачи* и прочие злодеи после полуночи выходили на промысел даже на асфальтированных дорогах в самом центре города. Всего месяц назад двое мужчин ограбили и изнасиловали англичанку, да еще отрезали ей язык, чтобы не сболтнула лишнего. Другой жертве нападения отрезали яйца – распространенная практика, – чтобы не достало храбрости мстить. Этим еще повезло. Остальных просто убивали.

Ворота Миссии оказались распахнуты настежь, что было странно. Гхош подкатил к своему коттеджу, свернул под навес. Фары высветили каменную стену, и Гхош в ужасе ударил по тормозам: перед ним поднялась с корточек и встала во весь рост призрачно-белая фигура, глаза ее отсвечивали красным, будто у гиены. Но это была не гиена, а впавшая в отчаяние заплаканная Алмаз, которая явно дожидалась его.

– Хема, Хема, что ты наделала, – пробормотал Гхош, уверенный, что случилось самое страшное и Хема выскочила в отпуске замуж. Иначе зачем Алмаз допоздна его дожидаться? Все вокруг знают, какие чувства он испытывает к Хеме. Только сама Хема не догадывается.

Призрачная фигура распахнула дверь со стороны пассажира и забралась внутрь. Самым официальным тоном, не глядя в глаза, Алмаз возвестила:

– Мне очень жаль, но у меня для вас дурные вести.

– Это Хема, правда ведь?

– Хема? Нет. Это сестра Мэри Джозеф Прейз.

– Сестра? Что с ней стряслось?

– Она отошла к Господу, да благословит он ее душу.

– *Что?*

– Да поможет нам Бог. Она умерла, – всхлипнула Алмаз. – Умерла, когда рожала двойню. Приехала доктор Хема, но не успела ее спасти. Доктор Хема спасла близнецов.

Гхош уже не слушал. Она повторяла одно и то же снова и снова, приводила какие-то подробности, но всякий раз у нее выходило, что сестра умерла. И что-то насчет близнецов.

– А теперь мы не можем найти доктора Стоуна, – рыдала Алмаз. – Он пропал. Мы *должны* его найти. Так матушка сказала.

– Зачем? – выдавил Гхош, хотя и без того знал. Как-никак они со Стоуном были единственными врачами-мужчинами в больнице. Гхош знал Стоуна лучше, чем кто бы то ни было. За исключением сестры Мэри Джозеф Прейз.

– Зачем? Потому что он больше всех страдает, – сурово произнесла Алмаз. – Так говорит матушка. Мы должны найти его, пока он не натворил глупостей.

Опоздали немножко, подумал Гхош.

Глава вторая. Край земли

Наутро матушка Херст, как обычно, появилась в своем кабинете очень рано. Спала она каких-то пару часов. Накануне они с Гхошем допоздна колесили по окрестностям в поисках Томаса Стоуна, а служанка Стоуна Розина несла дозор у него на квартире. Но доктор исчез.

Матушка поправила бумаги, громоздившиеся на столе. В окно ей были видны больные, выстроившиеся в очередь в поликлинику, – точнее, их разноцветные зонтики. Люди пребывали в убеждении, что солнце обостряет болезни, так что зонтиков было столько же, сколько пациентов.

Матушка сняла трубку телефона.

– Адам? – уточнила она, когда к аппарату подошел рецептурщик. – Передай Гебре, пусть закроет ворота. Отправляй пациентов в русский госпиталь. – Ее амхарский, хоть и окрашенный акцентом, был безупречен. – И обслужи по высшему разряду тех, кто уже в поликлинике. Я попрошу медсестер сделать обходы палат. Сообщи стажеркам, что занятия отменяются.

Благодарение Богу за Адама, подумала матушка. Его образование прервалось на третьем курсе. Такая жалость, из него получился бы неплохой доктор. Он не только умело готовил пятнадцать микстур, мазей и смешанных композиций, которые Миссия предоставляла пациентам, у него еще было и сверхъестественное клиническое чутье. Своим единственным здоровым глазом (второй глаз был закрыт бельмом вследствие перенесенной в детстве инфекции) он быстро распознавал в толпе, кто серьезно болен, в точности отмерял ингредиенты. Как ни печально, самая распространенная жалоба среди амбулаторных больных звучала так: «*Расен... Либен... Ходен...*» То есть «голова... сердце... живот...», причем к соответствующей части тела прижималась рука. Гхош называл это «синдром РЛХ». Чаще всего от РЛХ страдали либо молоденькие девчонки, либо дамы в годах. Отвечая на вопросы, пациенты могли, конечно, сообщить более конкретные симптомы, но бормотали их себе под нос скороговоркой, ведь на то ты и доктор, чтобы самому разобраться с *расен*, *либен*, *ходен*. Матушке понадобился целый год в Аддис-Абебе, чтобы понять: таким образом в Эфиопии проявляют себя стресс, тревога, супружеские раздоры и депрессия, это чистой воды «соматизация» – так, по словам Гхоша, назвали этот феномен эксперты. Болезни внутренних органов возникали вследствие психических конфликтов. Пациентки не видели связи между дурным обращением мужа, придирками свекрови, недавней смертью ребенка и своим головокружением или судорогами. И все прекрасно знали, что именно излечит их хворь, – укол. То есть их могла успокоить и какая-нибудь микстура (*Mistura carminativa*, магnezия или белладонна), но по-настоящему действенное средство было одно: *марфей* – игла. Гхош был категорически против инъекций витамина В в качестве средства от синдрома РЛХ, но матушка убедила его, что пусть лучше больного уколут в Миссии, чем ему вкатит что-нибудь подкожно нестерилизованным шприцем какой-нибудь шарлатан на Меркато. Витамин В стоил недорого, а эффект от инъекции проявлялся немедленно, пациентка улыбалась и вприпрыжку сбегала по склону холма.

[Купить полную версию книги](#)

Любовь заставила писать (*лат.*). Цитата из Овидия.

Шива (*санскр.* «благой», «милостивый») – в индуизме олицетворение разрушительного начала вселенной и созидания; одно из божеств верховной триады, наряду с творцом Брахмой и поддержателем Вишну. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Первые женские общины, жившие по правилам кармелитского устава, появились при монастырях Италии и Германии в середине XV в.

Святая Тереза Авильская (1515–1582) – испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденовой ветви «босоногих кармелиток». Католическая церковь причисляет ее к Учителям Церкви.

Кочин, или Коччи, – город в индийском штате Керала, крупный порт на Малабарском побережье Аравийского моря.

Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Марк, 10:29–30.

Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Палестина) – один из четырех нищенствующих католических орденов, отделившийся от основной ветви кармелитов в XVI в. Его возникновение связано с деятельностью великих кармелитских святых – Терезы Авильской и Иоанна Крестителя, а также с желанием части кармелитской братии жить по строгому первоначальному уставу ордена. Орден босых кармелитов был утвержден в 1593 г.

Компания «Годредж» одна из старейших и крупнейших в Индии. Образованная в 1897 г., она поначалу специализировалась на производстве замков и сейфов, но во второй половине XX века постепенно стала расширять сферу своих интересов, и сегодня «Годредж» производит весь спектр бытовой техники.

Малаяли – народ в Индии, основное население штата Керала.

Ришар Сен-Викторский (?–1173) – французский философ, теолог, представитель мистицизма, шотландец по происхождению, пытался примирить веру и разум с приоритетом веры. Ставил мистическое созерцание выше логического мышления.

«Магнификат» (по первому слову первого стиха «Magnificat anima mea Dominum») – славословие Девы Марии из Евангелия от Луки (Лк, 1:46–55) в латинском переводе.

Лука, 1:53.

Бодрствующая кома.

Внезапное подсакивание отдельных сухожилий кистей рук вследствие произвольных мышечных сокращений.

Настойка опия.

Врачи, аккредитованные при Бюро гражданства и иммиграции в странах Британского Содружества.

Операция удаления червеобразного отростка слепой кишки при его воспалении – аппендиците.

Хирургическая операция, заключающаяся в соединении тонкой кишки с отверстием, сделанным в желудке.

Местное повреждение ткани внутренней оболочки того отдела пищеварительного тракта, который подвергается действию желудочного сока. Пепсин – основной желудочный фермент, который принимает участие в расщеплении белков.

Самый древний исторически задокументированный танец-театр, его возраст более 5000 лет. Слог «бха» означает «бхава» – чувства, эмоции; «ра» – «рага», мелодия; «та» – «талам», искусство ритма; «натьям» означает «танец».

Чандрасекхара Венката Раман получил Нобелевскую премию в 1930 году за эксперименты по рассеянию света и за открытие эффекта, получившего название «рамановское рассеяние» (комбинационное рассеяние); это открытие положило начало целому направлению в экспериментальной физике.

Музыкальная композиция Уильяма Томаса «Билли» Стрэйхорна (1915–1967), которая стала особенно популярна в аранжировке Дюка Эллингтона и в исполнении Эллы Фитцджеральд.

«Боже, храни короля/королеву!» (*англ.* God Save the King/Queen) – патриотическая песня, национальный гимн Великобритании.

Хирургический инструмент, применяемый для отделения черепа плода от его туловища. Данная редкая процедура выполняется в случае мертвого плода для обеспечения возможности его естественного прохождения через родовые пути матери.

Акушерский плодоразрушающий инструмент в виде громоздких тяжелых щипцов, применявшийся для раздавливания головки плода.

Дэвид Ливингстон (1813–1873) – шотландский миссионер, выдающийся исследователь Африки.

Кат – монотипный род вечнозеленых кустарников семейства бересклетовые. С древних времен свежие или сушеные листья ката используют для жевания или заваривания (как чай или пасту) в качестве легкого наркотика-стимулятора. В социальном и культурном смысле кат можно рассматривать как заменитель запрещенного во многих странах алкоголя.

В Милапоре расположен крупнейший индуистский храм Ченная Капалишвара и величественный собор Сан-Томе.

Эклампсия – тяжелое заболевание, возникающее во время беременности, родов и в послеродовой период; форма позднего токсикоза беременности.

Инжера – фундамент эфиопской кухни. Этот бодрящий хлеб сделан из эфиопского хлебного злака тефф, напоминающего нашу рожь. Инжера очень похожа на русские блины.

Религиозный праздник, отмечаемый ежегодно 27 сентября, а в високосные годы – 28 сентября. Само слово «мескель» в переводе с амхарского означает «крест». Считается, что в этот день Елене, матери императора Византии Константина, после долгих поисков удалось осуществить самое заветное желание: отыскать в Иерусалиме величайшую святыню христианства – Крест Господень, на котором принял мученическую смерть Иисус Христос. В честь этого знаменательного события императрица Елена зажгла на главной площади Иерусалима костер. Пламя взвилось так высоко, что его было видно в Эфиопии. Народ ликовал и праздновал это событие. Случилось это в начале VI в., и с тех пор Мескель отмечается здесь каждый год.

Медовая брага крепости пива.

Домашнее эфиопское пиво.

Пресвитер Иоанн, в русской литературе также царь-поп Иван, – легендарный правитель могущественного христианского государства в Средней Азии. Сам Иоанн и его царство являются, скорее всего, вымышленными, хотя многие исследователи находят его возможные прототипы.

Цилиндрический полый режущий инструмент с одним заточенным концом, который используется для вырезания круглого отверстия в кости или другой ткани. Второе название – трепан.

Предлежание плаценты – аномальное прикрепление и расположение плаценты над внутренним зевом или в непосредственной близости от него, перед предлежащей частью плода.

Жан-Мартен Шарко (1825–1893) – французский врач-психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии. Провел большое число клинических исследований в области психиатрии с использованием гипноза как основного инструмента доказательства своих гипотез.

А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Откровение Иоанна Богослова, 21:21.

Без чего нет; необходимое условие (*лат.*).

Содержимое кишечника эмбриона. Состоит из переваренных во внутриутробном периоде кишечных эпителиальных клеток, пренатальных волос, слизи, амниотической жидкости, желчи и воды.

Джеймс Мэрион Симс (1813–1883), один из пионеров гинекологии.

Gonad – гонада, половая железа (*англ.*).

Традиционный отличительный знак парикмахерской. Представляет собой столбик со спиральными красными и белыми полосами. Когда парикмахерская работает, столбик вращается вокруг своей оси, когда закрыта, остается неподвижным.

Глубокий узловатый сифилид – развивается в подкожной жировой клетчатке.

Гимн итальянских фашистов.

Маркус Гарви (1887–1940) – активный деятель негритянского движения за равноправие и освобождение от угнетения.

Преступная женщина (*ит.*).

Чезаре Ломброзо (1835–1909) – итальянский тюремный врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Ломброзо сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека – преступника, развив антропологическое направление в криминологии и уголовном праве, где главной оценкой является внешность человека, по которой оценивается его моральный и поведенческий потенциал, что нашло признание у теоретиков и практиков фашизма.